



ХОСПИС

роман

журнальный вариант

Елена КРЮКОВА

г. Нижний Новгород

*Встал и пошел к отцу своему.
И когда он был еще далеко,
увидел его отец его и сжалился;
и, побежав, пал ему на шею и целовал его.
Сын же сказал ему: отче!
я согрешил против неба и пред тобою
и уже недостойн называться сыном твоим.
А отец сказал рабам своим:
принесите лучшую одежду и оденьте его,
и дайте перстень на руку его и обувь на ноги;
и приведите откормленного тельца, и заколите;
станем есть и веселиться!
ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся.*

Евангелие от Луки, глава 15, стих 20 – 24

Старая штора течет, стекает тяжелым расплавленным чугуном на подоконник, сбивается на нем в мертвый ком. Вторая занавесь, рядом, обреченно падает на пол. Обе занавеси не из шерсти, нет: из иной материи. Жизнь дошла до той черты, где вещное становится незримым, а легчайшее — всеящим столь же неподъемно, как жидкий металл. Говорят, булавочная головка звезды в небе — до нее не долетишь никогда — весит столь же тяжело, как сердце. Как больное сердце. А бьется все: и кровь в ушах, и сердце в убитом на бойне быке — еще стучит, торкается: тук, тук, — когда электродом в мокрый нос зверю ткнут. Тяжести предела нет. Все тяжелее и тяжелее. Все туже смыкается кольцо. Какое кольцо? Хорошо бы живых рук. Да умерла любовь. Тяжела была, а скончалась — и легче легкого, блаженней блаженного кажутся отсюда, издали, ее выкрашенные красной соленой кровью крылья.

Старый вор Матвей горбился в кресле у окна. Обивку кресла всю сплошь исцарапали кошки. Кошек у Матвея две, и они драгоценной породы: восточные, черти, то ли из Каира котят привезли, то ли из Бомбея. Забыл. На самом деле не вор он никакой, это он сам себя так называл: всю жизнь хотел быть вором и ходить по тонкому и страшному лезвию жизни, а стал врачом, и хорошим врачом. К нему на прием все всегда мечта-

ли попасть, из дальних краев в больницу к нему народ живыми ручьями стекался, руку его, склонясь, ловили и целовали, как священнику, толкались, толпились, у кабинета его ругались — кто быстрее на осмотр к Матвею попадет. А он выходил в былые годы бодрый, крепенький, военная выправка, окончил в свое время военную медицинскую академию, и даже на войну попал, на целых три года — в далекие горы, где песок пустынь забивает глотку при сильном ветре, сколы гор блестят больно, хрустальные, и стреляют густо, пьяно, и чаще — попадают. И он, хирург военного госпиталя, загадал тогда: пуля в меня — попросу вынести на воздух, под небо, буду в небо смотреть и прямо туда улетать. Сам смеялся над собой. Он превосходно знал: никакого неба нет, и души нет, есть только проклятое тело, когда его режут, пробивают пулями и осколками, оно отказывается служить тебе, и ты просто перестаешь существовать. Так все просто.

Матвей не верил в Бога. А может, верил, он сам не знал. С годами ему стало казаться, что да, Бог есть. Но эти мысли не приносили умиротворения. В больнице он дошел по лестнице доверху, на самый высокий этаж — отдуваясь, шепотом ругаясь, а людям улыбаясь: стал врачом-царем, врачом-владыкой, и все его уважали, и все почитали, и люди из деревень, встречая его в коридоре, кланялись ему в пояс: дохтур наш ты знаменитый, спаситель! Матвей снисходительно похлопывал больного старика по плечу: сиди, сиди, тебе сперва надо обследовать то, потом сё, а потом я анализы погляжу, а потом решать будем, что делать с тобой. «Исделайте со мной чё-нить, дохтур, дорогой!» Мужики словно бы выползали из времени, что умерло давно, о таком времени только в книжках дети читают — раскосые, морщинистые, щеки как хлеб ржаной, зачерствелый, бельмастые радужки, белые, инистые иглы бровей, бородки — сивые мочалки, и моргают часто, и пиджачки нелепые, и мокрые растроганные, всклень налитые надеждой глаза кулаками вытирают.

Больные. Боль. Больница. Он сам испытывал в жизни боль, но не верил, когда от боли кричали люди и корчились, и простыню грызли, и кулаки прокусывали. Он сдвигал брови: ну что, потерпеть не можете, слабодушные?! — да, считал такие вопли малодушием, истерикой. Человек

создан так, знал он давно, из курса психологии, что он себе попускает все. Он себя жалеет. А жалеть не надо. Нельзя.

Чугунная штора застывала. Он вытянул вперед руку. Толкнул занавесь кулаком. Будто боксировал с жалкой тканью. Жизнь дрогнула. Жизнь подалась под кулаком и поплыла, и закачалась, и заструилась вниз. Теперь обе шторы висели строго и тоскливо, закрывая от него окно с немывтыми стеклами, за тусклой стеклянной пленкой шелестела и вспыхивала чужая ненужная жизнь, ночная, перламутровая; далеко, меж домами, тусклым серым, гладко обточенным гранитом просвечивал каток; фонари горели мрачными кошачьими топазами, рекламы рассыпали по сугробам крупные турмалины. О, белая парча. Опять тебя земля напялила. И не надоест земле, старой шлюхе, обряжаться в эти холодные, никчемные одежды. Зимние гиматии¹ все равно растают. Истлеют под солнцем. Еще нескоро. Еще поскрипит время, издаст и хрипы, и крики. От боли будет кричать; а он назначит ему обезболивающие уколы. Как все просто!

Он прикрыл глаза. Тяжелые красные веки напоззли на радужки, на зрачки. Лицо, с толстым мясистым носом, в смешных дырках пор, чуть подрагивало. Седые брови кустились. И брови дергались; возможно, это уже начинался старческий тик, он не знал. Остановил подергивания усилием воли. А глазные яблоки дергаются? Может, это нистагм? Последствия недавнего церебрального криза? Ах, ты знаешь, Матвей, на самом-то деле ничего не лечится; врач только делает вид, что он лечит больного. Все умрут, и больные и врачи, ты же это лучше всех знаешь. Что же ты так беспокоишься? Или жить тебе охота, жить?

Чуть наклонился вперед, кресло под ним позорно и пошло скрипнуло, рукою отогнул занавеску — и старым хмурым, бровастым сычом, ледяными, морозными зрачками уставился в ночной мир за грязным окном.

Мир его настораживал. Мир был ему враг.

Более того, мир был ему рассеянный жиря-

¹ Гиматий — у древних греков верхняя одежда в виде прямоугольного куска ткани.

га, тупой зевака, и его надо было обчистить, искусно обокрасть; да пороху не хватало в пороховницах.

Слишком хорошо, правильно он был воспитан, чтобы замахнуться на мир и надуть его, нагло обмануть; он боялся обидеть мир, причинить ему боль.

Большим он не боялся причинять боль — это была его работа.

Он любовался миром. Так бабенка любит себя самоцветами, купленными по дешевке с грязных рук, в залапанной старой шкатулке. Полюбуется, поахает, а потом закроет шкатулку на ключ.

Мир, просматриваемый через двояковыпуклые линзы его чуть выгаращенных, как у котохотника, расчерченных извилистой красной травой сосудов, рассеянных, уже старческих глаз, печально переливался — будто прозрачный камень в любопытных пальцах, будто друза черного мориона, один кристалл побольше, другой поменьше, а вот кучка совсем малюсеньких — черными икринками рассыпались по золотым искрам пирита. Да, мир был драгоценностью, только напрочь измазанной всякою гадостью. Гадость липла к рукам, ее вонь затемняла сознание, и даже он, врач, за жизнь привыкший к ужасам и непотребствам, отшатывался от смердящего трупа убитого времени. Убитого не им — другими людьми. Отвернуться от покойника! Не смотреть! Оглядываясь назад, он видел себя за конторкой деда; он еще очень маленький, не доставал головой до ее деревянного, как у парты, скоса, поднимал ручонки, цеплялся ногтями за гладкое дерево, хныкал: поднимите меня! поднимите! Он знал: наверху конторки чернильница и ее надо увидеть.

Ему надо было все увидеть. И по возможности — осязать. И нюхать, и гладить, и всхлипывать от восторга. Мир был слишком вещным, слишком пахучим, цветным и слепящим, и таким шершавым и острым, то и дело ребенок ранил ладони и обжигал губы. Мир был чересчур ярким и грозным, с ним невозможно было справиться в одиночку. Матвей пытался застегнуть на себе мир, как детскую рубашку в крупную клетку, с карманом, где был гладью вышит большеголовый утенок, в клюве утенок держал ромашку, у него были красные кровавые лапы и крылья, похожие

на два пельменя. Матвей очень любил пельмени — их виртуозно, быстро-быстро, словно играла на арфе и перебирала туго натянутые струны, лепила тетя. Матвей вырос с тетей, а еще у него был дедушка. Он вставал рано утром, в пять утра, а то и в четыре — зимою это была глухая непроглядная ночь; снега раскидывались на полмира, а дед уже стоял за конторкой, отхлебывал пылающий кофе из чашечки, меньше яичной скорлупки, и быстро, так же, как его дочь лепила пельмени на кривой, густо посыпанной мукой, чтобы тесто не липло к ладоням, разделочной доске величиною в полстола, писал в толстой общей тетрадке бесконечные, длинные, с виньетками и летящими росчерками, и, видно, очень красивые слова, потому что он то и дело останавливался, поднимал перо, отставлял руку в сторону, так отставляют пальцы с горячей сигаретой, и любовался написанным.

Он писал коричневыми чернилами, то и дело макая в чернильницу узкое стальное перо, и Матвей вздрагивал, когда острый железный клюв стучал в медное чернильное дно — брызги взлетали и капали на разводы серого мрамора, дед кричал, со звоном клал ручку на золоченые рога, пятился из-за конторки и хватался длинными змеиными, нервными пальцами за могучую, вполголовы, лысину. «Деда, ты некрасиво написал?» — тихо спрашивал Матвей и нежно трогал дедушку за локоть. Дед не стряхивал раздраженно его котёнку лапку. Улыбался внуку. «Я поправлю. Поправлюсь», — поправлял он сам себя. И сам себе смеялся.

Однажды Матвей спросил, а где же его мама. У всех есть мама, а у него нет! Дед и тетя сурово смолчали. Матвей испугался их темного, как холодная кладовка, навечно молчания и больше о таинственной маме не спрашивал.

Мать Матвея бросила его, когда ему было полгода от роду. Она ушла из дома нагло и просто: маленький Мотыка спал в кроватке, мать оделась перед зеркалом, напялила на бедра теплые, с начесом, рейтузы, надела вязаную кофту, на нее — свитер (на улице гулял и хищно скалил ледяные зубы дикий мороз под сорок градусов), тщательно и туго завязала под подбородком уши заячьей штопаной шапки и на все пуговицы застегнула потертую цигейковую шубу. Она стояла перед зеркалом, восхищалась

собой: в таком наряде она смахивала на рыночную торговку, а сама себе казалась девочкой Снегурочкой. Грудь выдавалась под шубенкой. Она еще кормила. И ленилась сцеживать молоко. Ее бандитский Дед Мороз с пол-литрой под мышкой ждал ее в соседней пельменной. Она поглядела на стенные часы с гирями. Гири медленно, страшно ползли вниз, к плахам паркета. Минутная кружевная стрелка лениво перемещала с цифры на цифру свое потемное медное, узкое тело. Женщина поглядела на дешевенькие наручные часики, сверила время: время везде было одно и то же, медленное, пошлое, надоевшее. Женщина, уходящая из дома навсегда, поглядела на своего ребенка, он спал в кроватке на спине, разбросав по подушке толстенные ручонки и выпростав ножонку из-под одеяла. Ей захотелось на прощанье поцеловать эту голую ножку. Она подошла к колыбели, склонилась, поймала ножку и припала к ней губами. Когда она подняла голову, ее лицо было все мокрое, будто она вышла из моря, и соленая терпкая вода стекала с подбородка ей на шею и молочную тяжелую грудь.

Она пошарила в кармане шубы и вынула оттуда пустую коробку из-под дешевых сигарет. Открыла. Из коробки вытрясла на ладонь обклеенную синей бумагой спичечную коробочку. Очень осторожно отодвинула крышку. Склонив голову, неуклюже согнув шею, заглянула внутрь. В коробочке, на вате, оцепенел темный жук. Черный, а отливал красным, будто был полит густым вареньем или намазан вишневым лаком. Жук когда-то был живой, а гляделся, как роскошная, тонкой работы брошь. Он сам по себе уже превратился в брошку, — в украшение, в мертвый святой мусор, в какой обращается любое живое тело, когда переходит запретную границу между временем и пространством. Кто его умертвил? Жестокое дитя? Ученый, надменный взрослый? Никто уже об этом не знал. И женщина уже не помнила. Она захлопнула спичечную коробку и положила ее на тумбочку около детской кроватки. «Жук не выползет, он умер, — шептала она уходя, закрывая за собой дверь, — жук не выползет, жук не выползет, жук...»

Когда явился старик, младенец еще спал. Шифоньер, откуда была украдливо вынута

цигейковая шубенка, был закрыт плотно, на ключ, и ключ, как всегда, доверчиво торчал из замка — открывая не хочу. Пахло нафталином. Старик нюхом почуял, что дитя покинули и молочная нить порвалась. Пуповина ведь тоже бывает невидимой, как все остальное: мир только притворяется видимым, на самом деле у него есть дымный, прозрачный двойник, и этот мир, колышущийся столбом золотых лучей, призрачный и легчайший, и есть настоящий, а тот, что состоит из тяжелых и грубых вещей, — лишь его слепок, его воплощенный ужас, кривое его зеркало.

Старик сел сначала на корточки перед колыбелькой, руки его вытянулись и ослабли, валялись на коленях, как вялые бельевые веревки; потом он грузно и больно сел задом на паркет, он чувствовал себя собакой, которая все понимает, а говорить не может, как человек, — и не может даже, как собака, отчаянно лаять. Он крикнул раз, другой, и правда будто взлаял, прохрипел нечто, не поддающееся ни разумению, ни объяснению, — и так, с бульканьем в горле, дергая кадыком, застыл, безучастно глядя на сопящего в кроватке ребеночка, отныне ставшего его ребенком. Кроме удравшей беспутной дочери, у старика оставалась еще одна дочь. Беспутная была раскрасавица и знала себе цену, и все зеркала гасли, когда она шла мимо них, а у мужчин увлажнялись губы и болело в паху. А приличная и домашняя слыла уродиной, какой свет не видывал, хотя, если вдуматься, ничего особенно страшного в ней и не было — сивые, гладко зачесанные в кукиш на затылке бесцветные волосы, будто сызмальства, впрок обзавелась сединой, малюсенькие свинячьи глазенки, с виду подслеповатые, а примечали всё, шершавые, в красных цыпках, короткопалые руки, на шее — зоб величиною с куриное яйцо, когда она глотала, шея вздувалась, как у индюка, — и рябины, ох уж эти рябины, ямки по всему опухшему, в подкожных жировых горошинах, бледному лицу! Вторая дочь старика в детстве перенесла оспу и чудом осталась жива. Ее выходил отец. В школе ее задразнили: «Сито-решето!» Она безудержно плакала ночами и надумала наложить на себя руки — хотела броситься с балкона. Отец подошел и ухватил ее за юбку, когда дочь уже переваливалась кургузым телом-шаром через крашен-

ные масляной краской перила. Оба орали. Внизу собралась толпа. Отпоив дочку валерьянкой, обвязав ей лоб мокрым полотенцем, отец шептал: «Жизнь такая хорошая, дочка, ты знаешь, я вот в тюрьме сидел, когда ты еще не родилась, так и в тюрьме выйдешь на прогулку, а небо такое синее, аж плакать хочется! От счастья! А ведь меня в тюрьме могли расстрелять! Убить, ты понимаешь! А я — от синего неба — коровой реву! Нет, ты понимаешь?! понимаешь?!» Дочь утыкалась лбом и изгрызенными оспой щеками в колени отца, бормотала: «Понимаю, я всё, всё понимаю, всё».

Эта вторая рябая дочь, придя из магазина и увидев отца, в бессильном ужасе сидящего перед спящим внуком, бросила сумки с едою, села на пол рядом с ним, крепко обняла его полной, округлой рукой, прижала его этой тяжелой, крупной рукой к себе, больно за шею ухватив, и властно сказала: «Отец, не плачь, я Мотьке хорошей матерью буду».

И она стала Матвеем хорошей матерью. Самой лучшей.

Она наряжала Матвея в простецкие тряпки, а будто бы в роскошные, сказочные, и мальчонка нелепо гляделся новогодней елкой: бархатная курточка, перешитая из бабкиной юбки, рубашонки с кружевами на обшлагах, — мальчишки во дворе хохотали над ним и тыкали в него пальцами: «Барчук!»

Она наряжала раз в год старику и мальцу волшебную елку, покупала ее на рынке около вокзала. Гремели и выли поезда, тетка ходила по хрусткому снегу в валенках и выбирала елку, шупала черные колючие ветки, не осыпаются ли иголки, когда срублена, намедни или неделю назад, просили трешку — торговалась за рубль, привозила домой в тряском, звенящем всеми дощатыми костями трамвае, разматывала веревку и, кряхтя, ставила елку в крестовину, сама мазала позолотой сосновые шишки, сама вырезала и клеила снежинки, нацепляла на колкие еловые пальцы самоцветные человечьи кольца, мишуру и стекляшки. И Матвей, голову задрав, долго глядел на красную звезду на самой верхушке: звезда топырила пять лучей и обещала такое счастливое будущее, что перед его ослепительным светом хотелось восторженно застыть в карауле оловянным солдатиком.

А отца Матвей не знал и никогда не узнал; у него было чувство, что он родился на свет без всякого там отца, просто так, от одной матери. Думая так, он не догадывался совсем, что это в какой-то мере святотатственные мысли. Да что с ребенка возьмешь? Ребенку весь мир — одна огромная дерзость, он зажигает спичку и бросает ее в сугробы подушек, в торосы матрацев и наволочек.

И мир загорается в один миг, и горят весело и дружно его пух и его перья, его доски и его кирпичи, горят, обгорают и рассыпаются в золу, в прах, и не является больше никакой Бог, чтобы собрать этот прах и заново слепить из него нового, безгрешного человека. Никуда мы не уйдем от греха. А если мы от него и вправду уйдем, больше никогда не узнаем, что такое покаяние и прощение, и что такое слезы радости при чудесном избавлении от великого горя.

Мир горел вокруг Матвея обычно ночью. Фонари и рекламы разрезали черный плотный, как траурный драп, воздух, ветки сучили в пустоте, за гаражами задушенно кричали женские голоса, обрывались гнилой веревкой. Что-то страшное за гаражами происходило: кого-то насильовали, кого-то били, а может, и убивали. Тетка водила Матвея за руку до самого стыдного отрочества, он, уже взрослый мальчик, вырывал руку из ее потной полной руки и верещал: «Пусти, надо мной все просто ржут, они говорят, у меня уже усы растут, а я все за юбку держусь! Это ты держишь меня, ты!» Тетка вздохнула, выпустила руку приемного сына: голубь, лети! — а на другой день пошла в аптеку и купила ему изделие № 2 в грязно-желтой плотной бумаге, изготовленное на Баковском республиканском заводе резиновых изделий. Матвей тарасился на свой первый в жизни презерватив. «Что это?» — брезгливо спросил он тетку, уже зная, что это неприличное, гадкое, — то, о чем говорят курильщики с ножами за гаражами. «Воздушный шарик!» — зло отчеканила тетка, потом обняла Матвея толстыми, будто из пышного вкусного теста, руками, прижала к животу его всего, как голодного котенка-найденыша, и заплакала. Время отмотало еще шматок черной шерсти от плотного своего клубка, и человеческий котенок уже внаглую играл с ним, катал лапой по навозенному паркету, мимо бесполезной старомод-

ной конторки, похожей на вертикально вставший из земли гроб.

Гроб этот светился ночью. Матвей, настоящая сова, долго не мог заснуть. Он ворочался в кровати, его увеличивающееся на глазах, лезшее из детского времени вон, как тесто из тесной кастрюли, тело страшило и мучило его, он вскакивал, подбегал к окну, резко, будто срывал бинт с присохшей раны, отпахивал шторы и тарашился на горящий далеко внизу, за окном, темный мир. Пожар мира отражал небесные огни — земля шевелилась, вспыхивала и гасла живым зеркалом неба, далеко вверху шел смертный бой, а земля пыталась его повторить, скопировать; у нее это получалось плохо, нелепо и наивно. Звезды, планеты, Луна были живые, а земные огни, что ползли внизу, под балконом, под его налитым тоской окном, живыми только притворялись. Стекланные фонари; трамвайные дуги; пылающий радужный неон, отравленной кровью пульсирующий в прозрачных трубках, — насквозь на ночном рентгеновском снимке был виден пошлый обманчивый мир со всеми красными и синими ветвями его сосудов, с кривыми, то хрупкими, то конски мощными костями его скелета, с шевелящимися его потрохами, с его вспыхивающими тысячью светляков, размеренно дышащими, усеянными огнями бронхов и альвеол, бесконечно танцующими легкими: взад-вперед, взад-вперед колыхал северный ветер его продрогший, измученный город, и город становился миром, а мир превращался в огонь, огонь рассыпался, разъединялся на брызги и искры, на клетки и молекулы, корпускулы адского света. И Матвей сквозь немытое стекло оглядывал ночную огненную вакханалию и спрашивал себя: что будет с тобой, когда ты из человека станешь огнем? Он уже знал, что покойников сжигают в крематории. Многих соседей из их дома так сожгли: и Соньку-с-протезом, и старую Мару, и монгола Доржи. Ну, Доржи сам попросил, он завещал его сжечь и пепел развеять по ветру, когда он будет умирать и входить в состояние бардо². Матвей отворачивался от окна и взглядывал на дедову конторку — тетка вздыхала: «Давно надо увезти на дачу, распилить на дрова и сжечь в печке!» А конторка вдруг начинала светиться изнутри, дерево испускало нежное голубоватое свечение, на сосновом скосе появлялись

круглые, отчаянно, как с иконы, глядящие деревянные глаза, восстававшие из глубины забвения, — эти древесные глаза тоже начинали светиться, разгораться, приближаться, и весь деревянный столб обращался в столп, и на нем в ночи стоял дед, настоящий столпник, и безмолвно молился, скрипя железным пером, и рот его повторял за бегом пера невидимую вязь единственных, небесных слов.

Матвей слышал эти слова. Сквозь деда было всё видать — весь мир, что огнями вздрагивал за его костлявой, как у вяленой рыбы, спиной, язва и клейма дедово поджарое, волчье тело, знавшее тюремный голод и лагерные истязанья; огонь вспыхивал и гас — это так билось дедово сердце; огонь гас и возгорался опять, и ударял по глазам — это была светящаяся кровь в стенки аорты. И Матвей, подросток, что уже видел смерть в лицо, проклинал ее, молча ужасался ей, — ночью, при тускло светящейся конторке, смирялся с ней. Преподобный Даниил и Симеон Дивногорец, Алипий, что стоял на столпе шестьдесят шесть лет, и Феодосий Едесский, преподобный Лазарь Галисийский и Никита Переяславский, Савва Вишерский и Лука Новый Столпник, Кирилл Туровский, коего почитают в глухих медвежьих чащобах Полесья, и преподобный Иоанн, сквозь чьи морщинистые руки утекали десятилетия и ручьями слезных молитв текли, обвивая подножье столпа! Вы все родились на свет младенцами, но, сдается, вы все сразу стали старики и молельщики. Письмена ли, слово, излетевшее из скорбного, растерявшего все перлы-зубы, бессильного рта — все равно! Лучшая молитва — слезы. Плачь не плачь, все умрем. Дед лежал в соседней комнате. Он уже не вставал за свою любимую конторку скрести по бумаге пером. Он скреб губой о губу, пытался выдавить слово, но не получалось ничего. Он так и умер, шевеля беззвучными губами, силясь вымолвить, донести до людей, что безучастно, зная все, окружали его, ту тайну, что узнал на самом пороге, на выходе. Он тоже уходил от Матвея, как когда-то его беспутная мать, и тоже навсегда.

Гроб заказали, и правда, как две капли воды схожий с его рабочей конторкой. Дед спокойно лежал в гробу, но Матвею казалось — это он

² Бардо — в буддизме промежуточное состояние.

лежал, а дед стоял, просто стоял, закрыв глаза, и думал о тайном, святом и счастливом. Записать эти мысли уже нельзя было никому. Рябая тетка, стоя у гроба, держала Матвея за руку, как ребенка. Как тогда, когда она вела его, великовозрастного, из школы под смешки и улюлюканье ровесников. Она смотрела на лицо мертвого отца и все сильнее сжимала руку Матвея. Слезы затекали ей в рябины.

Ночной мир знал все о смерти. И, как ни странно, он знал все о жизни, — но о такой жизни, какой не знал и вряд ли узнал бы сам Матвей: опасной, подлой, развратной, приторной, пьянящей, — преступной. Коньячный вкус преступления уже тек у Матвея под языком. Он сосал его, как леденец из жестяной круглой коробки, эти твердые цветные леденцы тетка называла изящно и манерно: монпансье. Он примерял преступление к себе, как новый костюм перед зеркалом, — идет ли, впору ли. Он, такой воспитанный, приличный, завидовал вора и пьяницам, вздыхал, мечтая о жизни скитальца и злодея, разбойника либо авантюриста. Они свободны, шептал он сам себе, свободны, свободны! А ты кто такой? Что ты можешь? Что ты успеешь?

Эта огненная, пыточная мысль: «Успеть!» — точила его мозг и ржавчиной больно разъедала душу, а он утешал себя, обманывая: ржавчина — это позолота, камни — это хлеб, ненависть — это любовь, и делу — конец. Успеть — это не означало успеть урвать, слямзить, обокрасть, продать и заработать. Успеть значило сделать то, к чему чувствуешь себя призванным. Открывалась дорога: учиться, работать, все как у всех. Ночами он слушал себя. К чему призван он?

Однажды случилось так, что он напился сухого вина в теплой компании и опьянел хуже, чем от водки. Люди, кто пил и гулял с ним, подхватили его под руки и повели; он не понимал куда, зачем. Как получилось, что они все пьяным гуртом закатились в сумасшедший дом? Видать, кто-то из пирующих оказался врачом, и, может, тою ночью у него было назначено дежурство. Врач провел их в больницу с черного хода; они шли мимо котельной, мимо ящиков с углем, черно, адово блестящим острыми сколами. Пьяненькие ввалились в ординаторскую, чьи-то руки подносили им стаканы с разведенным

хлорным хрусталем воды спиртом, чьи-то губы смеялись. Спиритус вини, девяносто шесть градусов! Разбавили как надо, не сумлевайся, старик! Алкоголь подействовал, что удивительно, не убийственно, а лечебно. Разум прояснился. Телеса взбодрились. Говорили умно, блестяще, высокопарно, касались вечных тем и драгоценных материй. Воздух тек сквозь пальцы светлым шелком, время сыпалось на пол табачным прахом, серым, серебряным пеплом. Один друг завернулся, как в тогу, в больничную простыню. Другой стоял на четвереньках, изображая собаку, и лаял, и тихо скулил. Третий уже спал на полу, мирно подложив ладони под щеку, и щека его вздувалась и опадала, а лоб спящего пересекала таинственная сороконожка. Матвей попросил врача: «Покажи мне пациентов». Ему отчего-то стало очень нужно, важно увидеть, кто же такой здесь лежит, и таковы ли эти люди, как мы, или они так отличаются от нас, что нам до них не дойти никогда, не долететь, — они живут далеко, на Марсе, на Венере, на дикой синей звезде.

И врач пошел показывать ему пациентов.

Они оба, врач и Матвей, закутались в казенные, с жуками черных расплывчатых печатей, мятые простыни. Врач усмехнулся: «Кто не спит, пусть думает, что мы привидения». Скользкий линолеум гололедом плыл под кривыми, слабыми от спирта ногами. Матвей то и дело хватался за никелированные спинки коек. Когда он увидел первые лица в палатах, на ночных утлых кроватях, ему стало страшно, как на войне. Он уговаривал себя: «Не дрейфь! Это все понарошку! Я выпил много, вижу сон!» С койки медленно поднялась деревянная длинная жердь. Матвей спутал ее с человеком. Наверху жерди торчала маска, она синё мерцала, у маски выпучивались два глаза в форме спелых слив и синим пламенем дрожал высунутый язык между сухих потрескавшихся губ. Матвей протянул руку — маска упала с торчащей жерди на пол. Шли дальше. Лица наплывали на лица, как скользкие листья кувшинки в гнилой заводи наплывают, гонимы зацветшей волной, на вонючие золотые цветы. Разъединялись. Одиноко вспыхивали, безмолвным отчаянием сигнала: «Мы тут! Мы есть!» Их заслоняли ветки-змеи, усыпанные сохлыми синими листьями, и Матвей поздно понимал: это руки, запястья и локти. А листья — бессиль-

ные пальцы. Пальцы хотели жить и умоляли о жизни. Хоть немного, еще чуть-чуть.

Под сизым лунным деревом сидела на койке парочка: мужик и баба. Зачем мужик в женской палате, непорядок, слабо и нежно подумал Матвей горящими в пламени спирта, ночными синими мозгами, — а парочка обнялась и тихо сползла с койки на пол и так сидела на полу, обнявшись. Из-за голой, без единой посуды, тумбочки выросло большое дерево, призрачно и любовно наклонилось над ними. Пошевеливало ветвями: хотело любящих обнять. Ветви валились вниз и закрывали возлюбленных большими руками. С рук свисали божьи подарки: медные апельсины, золотые лимоны, янтарные абрикосы, беличьи орехи. Шишки вспыхивали, обернутые детской фольгой. Тихо сыпались на выскобленный нянечкой пол нуга и шоколад. «Черт, но ведь не елка же, — безумно подумал Матвей, — празднику рано!» Мужик и баба пылко поцеловались. Потом легли рядышком на полу, и рука мужика невесомо, будто хрустальная, обнимала грудь бабы, обтянутую смирительной рубахой.

Врач и Матвей в простынях, волочащихся по полу, шествовали из палаты в палату. Врач молчал — а что было говорить? Вдруг все палаты соединились в одну чудовищную, громадную коробку, и коробка поделилась на ровные секции, и из каждой ячейки на врача и Матвея глядело лицо — они выстраивались в ряды, вписанные в клетки, воткнутые в разграфленную черноту, и этот порядок пугал бесконечностью и глухотой. Люди кричали, Матвей видел, как разеваются рты, но он не слышал ни звука. «Звук выключили, — подумал он страшно, — это всего лишь черный глупый телевизор». Лица в ячейках дрожали и разгорались, как рыбацкие костры в осенней ночи. Матвей протянул руку, чтобы потрогать в ящике одно лицо. Коснуться вогнутой близоруким стеклом щеки. Ему это удалось. Под рукой поплыла чужая больная щека, мокрая, вся в слезах. Матвей заплакал вместе с человеком. Это не были пьяные слезы. Это были слезы человека, который все и сразу понял про страдание на земле.

Они прошли насквозь весь дурдом, и чем дальше шли по черным, с блеском никеля коек, могильным палатам, тем яснее Матвей понимал:

«Эти люди такие же, как мы. Такие, как ты! Тебе, больному, кружку к губам, зубам поднесут — или ему? Тому, с напрочь мокрым лицом? Все равно. Не понять. Не разорвать. Крепко, и не нами, сшит черный флаг жизни. А мы встаем то под алый, то под разноцветный, и белого, трусливого, сами боимся. Боимся завернуться в белую простыню и взбежать в ней на больничный чердак, и выбежать на крышу, чтобы, раскинув руки, наконец-то прыгнуть в свое маленькое, вечное счастье».

А лица все мерцали мятой мусорной фольгой из чертовой картотеки, все отчаянно взрывались потусторонним светом в угольных ячейках, вытращивали нефтяные глаза, текли смоляными липкими волосами, шевелили в неслышном вопле сожженными губами, и это все были люди, и они мыслили, и они любили. Матвей не мог протянуть обе руки, чтобы разом вытащить всех из черной картотеки, из ржавых секций железного бака. Он протягивал к ним крик. Молча он кричал им: «Милые! Родные! Я стану врачом! Я знаю, каждый достоин леченья. Каждый на свете болен. Во тьме болен светом. Во свете — тьмой. Я вернусь домой! Я изучу лечебную науку. Я буду знать, как и куда накладывать повязку, как резать и кромсать. Жестоко, да! Я буду знать, как исцеляют жестокостью. Но сам жестоким не стану. Я добрым останусь. Я просто стану лекарством. Я сворую самого себя — из аптеки. Бинтом свернусь. Засверкаю скальпелем».

Матвей весь дрожал, как заяц в зубах у легавой, и протрезвевший врач снял с плеч простыню и закутал в нее хмельного Матвея, как в песцовую шубу.

Рассвело. Когда он, рьяно, зло умывшись без мыла и полотенца, докрасна, до крови растирая шершавыми ладонями лицо, среди разбитого больными кафеля в туалете психушки, шатаясь и слепо моргая, вывалился на утреннюю улицу, он торжественно поклялся самому себе: «Ты станешь врачом».

Лечить. Воровать у равнодушных небес жизнь для земли.

Разве есть лучше, чище доля?

За его спиной неслышно толклись туманные фигуры. Они то выступали из мрака, то опять

прятались в него, кутались во мрак, как в плащи и шубы, в длинные черные шарфы. Стояли, тянули прозрачные руки, на запястьях браслеты: в тяжелом серебре, в старом темном золоте пылают густой кровью рубины, озерной глубиной пугают гладкие кабошоны сапфиров и бериллов. Звон. Браслет с невидимой руки свалился и покатился по полу. Матвей вздрогнул, боялся обернуться. Он знал: они опять все тут. Сегодня и всегда. Женщины в чепцах с лопастьями. Мужчины с перевязанными бинтами головами, и кровь сквозь бинты темными пятнами медленно выступает на висках, на затылках. Дети — и крохи, и постарше — кто доходил взрослым до пояса, кто ползал у них в ногах. Дети копошились и молчали. Одеты в разные тряпки: кто в рубище, кто в бархаты и атласы. Девочка стояла молча, сосала палец, спиной прижималась к женским бедрам, наступила ногою женщине на ногу, женщина разинула рот и крикнула от боли, но изо рта не вылетело ни звука. Только странная жемчужина покатила на подбородок, на шею из угла рта, скользнула вниз по складкам бедного платья. Эту женщину скоро казнят. Она еще об этом не знает. Да что там казнят! — просто убьют, подстерегут в подворотне. Она будет отбиваться, напрасно. Смерть явится в виде змеиной удавки, ей перехватят горло и долго будут затягивать тонкий крепкий шнурок, пока живыми ногами она не перестанет сучить по черной наледи, по серебряной корке наста.

Девочка в белой марлевке подняла лицо, пристально глядела на женщину. Они не были похожи, это не была ее мать. Но Матвей спиной видел все. Он узнал и женщину, и девочку. Изумился: как же они превосходно сохранились. Усмехнулся: в земле так не сохраняются. В земле истлевают, и черви съедают гнилую плоть. А тут они живые и святые, а может, такие же грешные, как тогда, и девочка весело глядит снизу вверх, ловя глазами птичью улыбку прозрачной женщины. Женщина колышется, как занавесь. Ее обнимает тьма, и на ее место встают другие фигуры. Они выступают из тьмы, ходят сзади зеркала, водят печальные хороводы, а потом вдруг застывают, образуя живую картину; и ничем их не сдвинуть с места, они, как и занавесь, обращаются в чугун, в железо.

Печальная бабенка, лицо сморщено, нелепая

шапчонка на затылок сползла, в коричневой от старости дрожащей руке оловянный ковшик. Из того ковшика она Матвею напиться дала, он помнит. Да, давненько дело было, в незапамятные времена, когда в деревне мимохожие воры ночью разбили окно, влезли к нему в дом, привязали его проволокой к кровати, нагрели утюг и держали раскаленную лодку утюга над его голыми ступнями, и орали бешено, и били Матвея по лицу: «Где деньги?! Где деньги?!» Изо рта Матвея торчала кухонная тряпка, он не мог говорить, лишь мотал головой. Вожак вытащил тряпицу и проорал ему в ухо: «Где деньги, сволочь ты, дрянь такая?!» Матвей все равно не мог говорить — уздечка под языком порвана была; да и денег никаких у него в избе нигде не лежало, кроме мелочевки на жизнь в кармане пиджака. Тут подельник, оскалась, поднес горячий утюг к его ногам и прислонил к левой ступне. Матвей не кричал. Он тут же потерял разум от боли. Не видел, не слышал и не чувствовал ничего. Мир умер. Когда мир воскрес, он чувствовал, как в губы ему тычутся чьи-то холодные стальные губы. Железо пыталось его поцеловать, а он плевался. Вздергивал подбородок, кривил и кособочил рот. Холодное, свежее полилось в рот и за шею, железные губы стучали по зубам, и мягкий, жалостливый голосок плыл над ним, уплывал под крышу, бился о бревна сруба: «Эка ты покалечили-ти, милок, эка попытали! Ну дык питанной оно уж как заговоренной, щитай! Скаже спасебочки мому Воушке, дык он зачул, што у ты в избе середь ноче огонь пылат! И почул, што ты тут не с роднымма, а с чужима вошкаесси! И дверю те ногою выбил, вот жа умница Воушка, бажоный мой! А у Воушки винтовочка, а Воушка мой охотник, с охотницкой грамотой, с печаттей, слава те Осподи! И спужал их, твох палачишек!» Матвей поднатужился, шире раскрыл заплывшие кровью глаза, увидел над собою это личико с кулачок, коричневое, крохотное яблочко печеное, щечки сморщились, глазки черными зернышками сыплются, — вздохнул и опять перестал быть. И второй раз очнулся уже в больнице; лысый доктор наклонялся над его обожженной ногой, менял повязку, вокруг блестел ледяной кафель перевязочной, и Матвей слабым голосом возгласил: «Я тоже врач, а вы что, врач, и сами мне

перевязку делаете? Не сестра? Почему не сестра?» Лысый доктор вздрогнул и поднял голову, и длинно, будто фильм глядел, посмотрел на Матвея: «Вы мне тут не указ. Я врач, вы врач, а может, я грач! Лежите спокойно и молчите!» И Матвей лежал спокойно и молчал, как ему предписали.

В белой шапочке далеко за чужими спинами лысый доктор из сельской больницы тоже стоял тут, за креслом, и тихо поднимал вытянутый палец: внимание, осторожно, люди, будьте осторожны со своей дорогой жизнью, — но люди не слышали его, не видели строгий жест осторожения, они все, люди, все равно летели на огонь, перебежали рельсы перед неистово гудящим поездом, бросались в кипящий водопад, целовали, обливаясь слезами, заразного больного в губы. Да много чего делали непослушные люди такого, что послушные ненавидели, боялись и не делали никогда. Выплывал из клубящихся темных дождевых туч сгорбленный нищий, человек с площади далекого города, где Матвей был лишь один раз и не бывал там больше. На красивой площади, поросшей каменными деревьями дивных домов и унизированной яркими драгоценными фонарями, он увидел долыса выбритого нищего, сидящего близ своей шапки, разложенной на брусчатке изнанкой вверх, и положил в шапку слишком крупную для такого маленького бедняка деньги. Бедняк вздрогнул всем телом, будто его ударили током, и забормотал на незнакомом языке горячие слова, и из пылкой речи той Матвей понял, что нищий его от сердца благодарит. Сам не зная почему, Матвей взял и погладил нищего по голой голове. Ощутил под рукой выступы и бугры — бритая голова побитрушки под его ладонью походила на рельефный глобус. На миг он испугался; башка бедняка и правда почудилась ему чудовищно маленькой землей, с горами и долами, с океанами щек и высохшими руслами угрюмых морщин. Он отдернул руку и опасливо подумал: «Не болеет ли этот тип паршой или песью какой, не захвораю ли?» На родину прибыл — в кожный диспансер пошел. Там ему завели анонимную карточку и тщательно осмотрели, и все соскобы взяли. Бог миловал его. Но еще долго после той поездки мерещилась ему лысая, в буграх и кочках, загорелая до красноты голова, чуть заросшая жидкой

щеткой седых волос, и слышался горячий голос, что лил прямо на его сердце кипятком восторга.

Один он сидел в кресле. А за его спиной вставал из темноты его народ. Его собственный, личный народ; у каждого за плечами толпы людей, и мозг человека устроен так, что всех людей он забывает, а помнит лишь тех, кого помнить суждено. Родные! Близкие! У него, старика, они тоже были. Да вот же они, куда ж они денутся. Чада и домочадцы. Полная квартира народу, и народ гомозится, гомонит, перемещается туда-сюда, выбегает, прибегает. Не жизнь, а сумасшедший дом! Он любил, когда в доме много людей, создавалась иллюзия тепла в самые лютые морозы. А еще вся эта толпа родного народу казалась ему залогом его собственного бессмертия. Вот я размножусь, вот я впущу в двери еще человека, и еще, и еще, и оделю его богато, и заведу у себя в деревне козу для детей, и своих и соседских, а может, и корову, молоком зальемся, бабу найму за коровой ухаживать; вот я бездомному помогу и под свой кров его возьму, а вот в гости ко мне тетка с Белого моря придет да так у меня и останется, а вот детки вырастут и семьями обростут, а тут-то я и новый дом куплю, огромный, просторный, на всех хватит! Только мне, мне одному надо богатеть, вверх, вверх по мраморной лестнице идти!

Он шел вверх и вверх по лестнице, все вверх и вверх, и чада, и домочадцы были им довольны, хвалили его и превозносили, и бросались к нему, когда он с работы приходил: «Матвейюшка, тебе что под супчик подать, водочку или настоечку?.. Мотя, садись к столу! А вот она — и салфеточка! Салфеточку повяжи обязательно, а то рубашку жиром заляпаешь!.. Матвей Филиппыч, благодетель, устал сегодня, небось?.. Папа, папа!.. А вот я!.. А вот у меня!.. Глянь, какой кораблик я сделал из щепочки!.. И он поплывет!..» Корабль уплывал, часы звенели медно и тягуче, Матвей усаживался за стол, вздергивал локтями, хватал зубастое серебро фамильной вилки, в бокал лился сок, а в рюмку — кедровая настойка, и уж несли с кухни на подносе, высоко поднимая его над теплыми ребячьими головами, дымящийся кус жареного мяса, как следует посыпанного душистым перцем (он любил изобилие пряностей в блюдах, обожал перец, гвоздичный корень и кардамон), — и поднималась в ловкой, быстрой и

умелой руке врача рюмка, и веселыми, чуть блестящими от мясной подливки губами вкусно и щедро говорил, как пелся, тост: «Да будет умножаться процветание и счастье нашей большой семьи!» И все, вторя ему, тоже поднимали кто что: кто рюмки и стопки, кто чашки, а кто просто стучал ложкой об ложку и неистово, от радости, визжал. Какая красота! Какая вкуснота! Он любил и умел жить, и ему казалось, он любил людей. Да еще и лечил их — это, значит, помогал им; и собою он был доволен, радовался сам себе и успехам своим, и спокойна была его душа о том, что будет со всеми ними.

Он любил устраивать детям елку, а уж как они любили эти благословенные дни, когда мороз трещит, как старые половицы под веселыми ногами, и все люди тащат к себе домой на плечах туго-натуго перевязанные громадные зеленые рулоны, осторожно несут, верхушкой вниз, колючие пирамиды. В теплых домах елки будут украшать, пусть ненадолго, — да, они все умрут, но все хоть немного побудут царицами радостных, празднично хохочущих за накрытыми столами, наивно верящих в чудо людей. Дети водили вокруг елки хороводы, и Матвей шел в хороводе вместе с ними, время от времени смешно приседая, чтобы быть с малыми детьми одного роста; они все вместе пели песню про елку: «Спи, елочка, бай-бай!» И елка, дрожа малахитовыми тяжелыми ветвями, осыпая иглы и легкие стеклянные игрушки на наощенный паркет, слушала их всею собой, верхушкой и комлем, источая терпкий запах. Матвею казалось, это пахнет одеколоном «Шипр». Елка так не хотела умирать! Дети кричали Матвею: «Папа, наша елка будет жить вечно, она царица, у нее корона!» Он кивал и смеялся, чтобы не заплакать.

А весной Матвей любил ходить с детьми смотреть ледоход. От созерцания ледохода он впадал в молчаливый восторг, а дети гомонили вокруг его колен, указывали пальцами вдаль, что-то непонятное разглядывая на медленно, страшно идущих по течению льдинах. Однажды они увидели на льдине собаку, дети истошно закричали: «Надо спасать! Спасать!» А Матвей беспомощно, молча глядел, как маленькая зверья жизнь уплывает вдаль по реке, воеет, задирает мохнатую морду. Он клал руки детям на плечи: «Идемте домой, дети, собака плавать умеет, она прыгнет в

воду и до берега доплывет!»

Но день настал, а потом и еще настали плохие, злые дни — дети Матвея, что так весело и долгожданно рождались, умирали один за другим. Его жена сильно плакала, и он не мог ее утешить. Матвей заказывал маленькие гробики в лучшей конторе ритуальных услуг, их по его приказу обивали лучшей тканью: белым, как лилия, атласом, царской красной с золотыми разводами парчой. Но это не спасало душу от ночных стонов, от скрежета зубового. Матвей изо всей силы прижимал к себе худое, поджарое, как у южной кобылицы, тело жены и с ужасом думал: «Вот тело, и я его люблю, я в него вхожу и сочетаю его со своим телом, а где же душа?» Он покрывал поцелуями зареванное мокрое лицо жены и искал губами душу — а души не было. Сердце, вот оно, оно еще билось под его ладонью, под ее левой грудью; с сердцем вроде бы все было в порядке, на месте оно трепыхалось, — а вот душу было не поймать, не уследить. И он сделал вывод: души нет, есть только тело, все это чистая физиология, и только. Ожесточился. Сжимал челюсти. Оперировал теперь четко и зло, операционные сестры его боялись, помогали у стола, трясясь от страха подать невовремя скальпель, иглу или кетгут, и однажды одна из сестер, самая бойкая, спросила Матвея: «А может, вам в мензурочку спирта налить?» Он сперва не понял, что ему предлагают выпить. Когда дошло — испепелил сестру зрачками. Сестра сдернула стерильную маску, закрыла ладонями лицо и убежала плакать. В операционную срочно пригласили другую сестру. После операции Матвей сидел молча, недвижно, облокотившись на колени, руки его в резиновых окровавленных перчатках висели мертво, как у снятого с виселицы. Ассистент подошел к нему. В руке у ассистента мерцала мензурка. «Я разбавил примерно семьдесят на тридцать», — тихо прозвучало среди стеклянных шкафов и контейнеров со шприцами. И один мужик взял из рук у другого мужика разведенный спирт и жадно выпил. А сестры стояли поодаль гуртом, как овцы, и молча смотрели.

Тот больной, на столе, умер. Сразу после операции. В палате.

Похоронные марши день и ночь звучали под черепом Матвея, он отмахивался от жуткой

музыки, как от мухи, но она жужжала в ушах весь день и всю ночь. Что ни год, умирали дети. Их уносили болезни. А еще их уносили в черных клювах черные аисты плохой судьбы. Жена родила ему шестерых, и четверо ушли во тьму один за другим. Девочка, беленькая, как белый голубь, и ручонки, как крылья, все раскидывала. По комнатам босиком носилась. Жена шила ей платья, как для царевны. Умерла от острого лейкоза. Мальчик, умница, любопытный, везде нос совал, схватился на улице за оголенный провод. Он не мог даже позвать на помощь: ток сдавил ему глотку, он только корчился и умер в диких муках. Еще один мальчишка собрал в лесу корзинку грибов, хотел порадовать мать, отца и всех домашних; пришел из лесу и сам поджарил на огромной, как стадион, сковородке. И сам поел. Через двенадцать часов он уже выгибался в судорогах на больничной койке. Не спасли. Еще одну девочку сбила машина. Матвей подал на водителя в суд. Он выиграл дело. Но ребенка было не вернуть.

Оставались двое детей — и оба мальчики.

Из этих двух тот, что был старше на год, по лету утонул. На спор с другом решил широкую реку переплыть. Лето было раннее, паводок еще не сошел. Холодная вода. Разделся до трусов, ежилась на ветру. Вступил в быструю воду. Друг плыл рядом в лодке, наблюдал, как то поднимается, то скрывается под водой круглая, под ноль стриженная голова. Судорогой скрутило ногу. Еще боролся, всплывал, дергал руками. Захлебнулся. Друг оцепенело сидел в лодке, не прыгнул спасать. Он видел, как пловец безумной рыбой разевал рот, и сквозь прозрачную водную толщу следил, как долго, вздрагивая и переворачиваясь, еще живое тело уходило под воду, в глубину, во мрак.

Мрак. Вот он, за спиной. Вон там, там, за плечами его, все они, любимые. Оставался еще один сын, последний. Они с женой тряслись над ним. Сюда нельзя, Марк, туда нельзя! Здесь не ходи, опасно! Тут плохо тебе будет, туда не надо! Ты ходишь на каток, играешь в хоккей, не надо, брось, вдруг шайба полетит тебе в лицо, разобьет черепную кость! Ты ловишь бабочек сачком по холмам и оврагам, не надо, ты наступишь в овраге на ядовитую змею! Они всячески пытались сделать жизнь парня удобной, гладкой, сладкой, бестревожной. Они не приучали

его работать — отец махал рукой: «Пусть живет, наслаждается! Сам заработаю! Еще наработается!» Матвей совал сыну деньги: «На вот, возьми, на что тебе нужно? На это, и вот еще на то? На, на, держи!» Сын рос наглым и веселым. Модно одевался. Отец сам покупал ему одежду в лучших бутиках. Сын просил машину, Матвей отчаянно тряс головой: «Ты разобьешься!» Сын кричал: «Так я же достану денег и без тебя, скупердяй!» С друзьями он ограбил заштатный, на окраине города, магазин. Дружков быстро вычислили и арестовали. Сына не тронули: Матвей дорого заплатил за него. Последний! Единственный. Он будет жить!

И был день. Золотом светились деревья. Грязь плыла под ногами. Промозглой осенью его последний сын исчез из дома. Ему было всего шестнадцать лет. Вместе с ним исчезли его паспорт, бриллианты матери, оправленные в золото и серебро, из старой шкатулки на родовом шкафу и все деньги из бумажника Матвея.

«Вор, вор, — шептал Матвей бессмысленно, — вор, вор, куда теперь? Что теперь? Вор...» Сын из домашнего модного мальчика неожиданно стал вором и беглецом, и все чаще Матвей приказывал ассистенту: «Налей немножко в мензурочку, тяпну, что-то руки дрожат». Он заливал в себя спирт — руки дрожать переставали.

Но в пьяницу пока не обратился: крепился, держался на обрыве, а внизу дышала пропасть подлинного безумия.

Жена недолго прожила после бегства сына: она угасала быстро. Так горит церковная свечка, нежно и торопливо, то и дело вспыхивая, и крючится черный фитиль, и ползет вниз, на медь подсвечника, тускло-золотистый, дынного цвета воск, и быстро застывает, прежде горячий, становясь желтым мрамором, — слезным памятником. Матвей поставил жене памятник из светящегося золотистого карельского мрамора. Он все чаще думал о том, что душа есть, но он не мог понять, где же она, паскуда, прячется. И она ли вызывает на глазах стыдные для мужчины слезы, и слезы вскипают, а потом остывает кипяток и остывает земля, и стыннут бесполезные надгробья и гладкие как лед мраморные плиты на далеком кладбище. Дети и жена были похоронены рядом — для всех он щедро купил землю, в одной могиле их схоронить не смог.

Ряд могил, кресты в ряд, в солдатский ряд памятники. У каждого свой. Вот, жизнь земная оканчивается в земле, и родня возводит каменные суровые квадраты и круги, чтобы помнить! А что помнить? Разве этот мрамор — живые руки и губы?

Они за спиной. Ты слышишь, Матвей, они у тебя за спиной.

Фигуры перемещались, меняли очертанья, меняли позы — стоящие сгибались, лежащие поднимались, кто садился на корточки и закрывал ладонью глаза, кто тихо шаркал прочь, поворачиваясь горько молчащей, сутулой спиной, и свисали с плеч лохмотья, и не мог он ничего теперь поправить, не мог им вместо изношенной хорошей одежды купить, не в собачью миску, а на фарфоровую сервизную тарелку изысканной еды положить. Тебе что, тетя Кира? Кроватки под майонезом? А тебе что, Витюша, милый? Курочку, жаренную в сухарях, с чесночком? Ешь, ешь скорей, ты на реке замерз, в реке ой холодная вода! У тебя кожа... в гусиных пупырышках... ешь, сейчас согреешься, быстро...

Фигуры плыли и уплывали, и вдруг опять возникали, прибор тьмы выбрасывал их на берег света, и спина Матвея опять становилась зрячей. Он видел все. Нежным золотом отсвечивали щеки. Крупными кабашонами тускло, солёно блестели глаза. Пальцы были серебряны и остры — острее ножей. Сквозь лохмотья и отрепья просвечивала опаловая белизна мягкой живой кожи: колени, локти, груди. Это все были его сокровища, и он мог их рассматривать и осязать, даже не оборачиваясь к ним. Живые! Они все живые и опять надвигаются. С закрытыми глазами, в кресле, он спиной, старыми лопатками, вздрагивающими под давно не стиранной рубахой, пытался разглядеть, восчувствовать, кто сегодня с ним, что нынче хотят от него его чада и домочадцы, его грустная молчаливая жена и его скромные, воспитанные дети, что жмутся к ногам взрослых, переступают с ноги на ногу, стискивают перед собою крошечные стрекозиные ручки. Его богатство! А может... Он боялся подумать об этом и все-таки думал. Мысль летела вперед его желанья. Может, это все лишь призраки и он, как и был, одинокий?

Вор, вор, я вор, бормотал он себе под нос,

жизнь бы своровать, да не хватит ума. Смерть своровать — а тут силы не хватит. Мужества. Он, врач, видал в своей работе и самоубийц; их привозили разнообразных, кого со странгуляционной полосой вокруг шеи, удавленников, значит, кого разбитого в лепешку — сигали вниз из окон, с балконов, — кого с водою в легких, несчастных утопленников; привозили, сгружали в приемном покое тяжелыми бревнами, кричали ему, хватили его за полы халата: «Доктор, спасите! Доктор, а может, он еще живой! Доктор, глядите, она же еще дышит!» — тогда он брал мертвеца за руку и делал вид, что шупает пульс, сдвигал сурово брови, потом мертво глядел на дрожащую родню и изрекал, последний судия: «Кончено. В морг». Он пережил всех своих, и он не хотел вслед за ними. Чем плотнее его обступала смерть, тем неистовее он жаждал жить. Он только никому, кроме себя, в этом не признавался.

Хоть он и стар был уже, настолько стар, что стал уже путать времена, и частенько ему казалось — за окном на ветру мотаются красные флаги и шелково, подхалимски переливаются под тусклым масляным шаром холодного солнца. Однако он еще работал, правда, оперировал все реже, и все чаще консультировал, и все толще становились плюсовые стекла в его старых очках, — дужки отвалились, и он приделал к оправе резинку и так на позорной потешной резинке вздевал совиные мутные очки себе на потную переносицу. Старый, а с работы не гонят. И на том спасибо.

Каждое утро надо было встать и привести себя в порядок. В порядок себя приводить становилось все труднее. Труд — принять душ и крепко растереться жестким полотенцем. Труд — вскипятить чайник и пожарить яичницу. Труд, и ужасный, — одеться. Он не умел и не любил одеваться. Он с одеждой мирился. Когда была жива жена, она его одевала, любовно и заботливо. Она даже мыла его в душе; он садился в ванне на корточки, и она окатывала водою его лысеющую голову и размазывала по ней горсть шампуня. А потом терла мочалкой. Вдыхала: «Мотя, ты у меня такой красивый!» Не видела его обвисшего живота, высыхающих ног, лысины. Она любила его.

Жена, ты ушла. Далеко, отсюда не видно. Он шел в больницу и шевелил губами беззвучно: «Я

вор, я вор. Вот я своровал у времени еще одну ночь. И сейчас сворую еще один день». День был и правда драгоценный: он сиял во всю ширь неба грязными стеклами больничного вестибюля, скалился беззубой улыбочкой больничной гардеробщицы. «Здрасьте, Матвей Филиппыч!» Он сухо кивал старухе. В здании пять этажей, а лифта нет. Что ж, это полезно, ноги пусть ходят по ступеням. Ножки, шевелитесь. Он поднимался на второй этаж и уже задыхался, будто тонул, а подходя к четвертому, к своей хирургии, пыхтел как паровоз.

Беспощадный дневной свет заливал ночные сонные лица. Больные лежали, вставали, ходили, и все как во сне. Они ничего не хотели, и они хотели всего. Они хотели, чтобы он сказал им, как правильно своровать здоровье. Украсть: с богато накрытого, с винами и заморскими фруктами стола, из ящика старого, с тараканами, нафталинового шкафа. Струились вниз простыни. Горбилась чья-то спина под пятнистым халатом. Пояс развязывался, халат падал на вымытый с хлоркой пол, и ночная рубашка лилась кислым молоком, и в ее вырезе обнажалась коричневая горелая плоть — высох пирог, зубом не укусишь, зуб сломаешь. Кожа да кости. Всех в землю положат! Матвей подходил к больной, клал свои ловкие, воровские руки ей на плечи. Лягте! Я вас осмотрую. Старуха послушно ложилась. Панцирная сетка лязгала. Матвей вел кончиками пальцев по лбу, по ключицам, бабка, кряхтя, трудно переворачивалась на живот, он мял жесткий хребет, и под его пальцами звенели кислородом и уплывали прочь легкие деревянные позвонки. «Доктор, что у меня? Только не врите мне!» Он беззастенчиво врал больной: «Дела на поправку!» Выходя из палаты после обхода, кивал медсестре и бросал на ходу: «Эта бабуля, у окна, умрет завтра вечером». «А у нее есть родня?» — деловито спрашивала сестра, поправляя на лбу белую шапочку и кокетливо глядясь в Матвея, как в зеркало в коридоре. «Нет никого, одна она. Сразу куда надо везите».

Эти люди, они блуждали вокруг. Обступали его. Больница уже была не больница, а его странный странноприимный дом, его бедняцкая гостиница, где накладывали холодной каши в казенную тарелку, а по палатам носили в клетке волнистого попугая, чтобы он почирикал людям

их глупые, людские слова и они на миг забыли о своих страданиях. Птица в клетке! Они все тоже сидели в клетке. Только не вылететь уже из нее. Падают простыни на пол, их подхватывают и заворачиваются в них. И так стоят, в белых, в желтых тогах. Счастливы те, кому выдали цветное белье, розы, маки по подолу. Волнистый попугайчик картавит, скрежещет по-человечьи. Кривой клюв щелкает, раскрывается и закрывается. Да он не живой, а заводной! Игрушка! Попугая обступают люди в античных тогах, птица косит хитрым блестящим глазом, синим с золотым ободком, и хитро думает про людей: я настоящая, а вы все игрушки.

Люди перемещались по палатам и коридорам, шастали в отхожее место, несли в дрожащих руках грязные тарелки на кухню; и люди лежали, и лежачих было больше, чем ходячих. Лежачих надлежало жалеть больше, но внутри Матвея не осталось жалости. Подходя к очередной койке, он хватал все с ходу цепкими глазами: возраст, кость срастется плохо. Щитовидка, грубый шов, белые губы, голос низкий и хриплый, началась микседема, лишку правой доли оттяпали. Откидывал простыню. Отлеплял от живота пластырь. Удаляли аппендикс, а шов разошелся! И температура, и сколько? Под сорок? На стол, у больного перитонит, начинается сепсис! Не углядели! В хирургии много чего можно не углядеть; если с ножом лезешь внутрь человека, ты разрезаешь в нем вековые связи. Сокровище на куски кромсаешь. После склеиваешь, сшиваешь; напрасно.

Он шагал по больничному коридору тяжело, медленно. Входил в палату. Прикрывал за собой дверь. Клетка с говорящим попугаем стояла на подоконнике. Матвей садился на край койки и робко и мрачно, исподлобья, оглядывал палату. Так сундучный паук оглядывает свое ветхое богатство: тряпки, ложки, чашки, отрезы. Под сводами слепого потолка ходили слепые. Они не хотели видеть смерть. Шамкали смешными ртами. Обсуждали чью-то участь, не свою, нет. У кого мерзла голова, тот сидел на койке в вязаной шапке и ноги кутал в одеяло. Вчера прооперировали рабочего речного порта, он упал с подъемного крана; его задранная нога торчала в туманном воздухе, белое березовое полено, прицепленное к железным стержням и подвескам.

Так он будет лежать месяц, может, больше. Надо сказать близким, пусть веселые книжки ему принесут. Операцию делал другой врач, не Матвей: моложе втрое. В сыновья ему годился. Иногда больные в полутьме оборачивались к нему, и он дрожал: у них были странные лица его умерших сыновей и дочерей.

Чуднее всего в палатах было вечером. Вечерний свет менял лица и фигуры. Люди из больных становились царями, слугами, насекомыми. Гранитными, бронзовыми памятниками. Поднимали руки и так стояли, указывая путь. Зеленый маленький попугай вылетал из клетки и садился памятникам на плечи, на затылок. Молчал; нечего было сказать. Когда в окне, за грязным стеклом, появлялась первая морозная звезда, попугай смятенно хрипел: «Яша хар-роший! Яша хар-роший!» Все ему верили. Этот сумасшедший старый врач, зачем он к нам заглядывает? Он стоит в дверях, не заходит. Наблюдает. Какой врач, что ты мелешь? Нет никакого врача! Есть только эта, вот эта палата. Этот кусок жизни, и он ржаной. Погрызи его еще слабыми челюстями, пососи. Очень ведь вкусно. Вкуснее не бывает. Я ничего вкуснее не едал. И я тоже. И я.

Фигуры смещались, наплывали друг на друга. Заслоняли друг друга. Из трех делалась одна. Два глаза из-под круглого черепа, обтянутого вязаной шапкой, смотрели на Матвея, и он знал, тут не два глаза, а шесть. Сам воздух обращался в зрение. Плыл и выгибался крупной, круглой толстой линзой. Палата страдала дальновидностью. Больные глубоко вдыхали вечерний воздух — из открытой настежь стеклянной двери, из хлорного коридора, втекал в ноздри грубый запах кухни: вчерашние пирожки с капустой, нынешняя рисовая каша, горелый завтракный омлет. Фигура в светлой светящейся простыне подходила к окну. За окном угасал свет. Взамен наружного света свет теперь шел от мятой простыни, от плеч, укутанных в парчу и виссон. Царь, прокляни меня! Или благослови меня! Сгибались спины. Стукались об пол колени. Сильно, терпко пахло хлоркой. Глаза Матвея плавали под кустистыми страшными бровями. Он наблюдал, как жизнь плотней запахивает тогу на груди. Как волочит за собою парчовый, жалкий подол. Его изорвала когтями эта

полоумная птица! Скорей, скорей ее обратно в клетку!

А чуть позже в темной палате зажигались свечи, и больше сюда уже никто не входил и отсюда не выходил — люди застывали торосами над ледяною гладью постелей, и даже говорить они уставали, а этот доктор, чудик, он ушел или нет еще, да давно уж ушел, а он что, дежурный, а какая разница, если с кем плохо, он в ординаторской на кушетке спит. И без одеяла? Ну что ты, дурачок, с одеялом, конечно. И с подушкой. Как же без подушки. Спи-усни, угомон тебя возьми!

А нынче все эти больные, эти немощные цари и холопы вдруг пришли сюда, в его квартиру, смешались с его прозрачной, незримой роднею, и он теперь не мог достоверно различить, где родня, а где чужаки. Пытался рассмотреть их всех затылком. Мороз подирал по коже ссутуленной спины. Потные, скользкие ноздри раздувались. И легкие раскрывались, разлетались двумя парчовыми, ало-золотыми лоскутами. Когда он дышал, молчал, лежал, ел или шел, он анализировал свою хитрую физиологию: вот жидкость втекает в пищевод, вот суставы сгибаются и разгибаются, создавая иллюзию движения. Фокусы, усмехался он над собой, всюду фокусы! Нам только кажется, что мы живем. Ведь на самом деле мы не живем. А может, только вспоминаем о жизни!

Шорох шагов, шарканье подошв по полу; солдатские сапоги, стариковские тапки. Босые ноги бегут по сухой, как кость, половице беззвучно. Не девочка, бабочка: дрожит крыльями, они в золотой пылице, перебирает лапками. Тонкое брюшко обсыпано серебристой, мелкого помола мукой. Сахарной пудрой. Печальная старуха склонила голову. На ее костлявых плечах дырявая простыня. Она пытается закутаться в нее, как в пушистую шубу. Шуба истлела. Осталась больничная бязь, вся в казенных черных печатях. А, да это же его покойная жена! А почему она старуха? Она же молодая! Такая поджарая, горячая степная кобылица! И играет под ним. И он на ней скачет, скачет вперед, все вперед и вперед, по голой и мертвой степи. Огненный шелк, раскаленные ребра. Это все тоже обман. Где кобылица? В земле. В длинном странном ящике, сколоченном из сырых, плохо струганных досок.

Люди молчат за его спиной. Ходят тихо. Мерцают глазами, руками. Тускло гаснут одежды. Горят пальцы, как свечи. Может, он во храме? Он туда не ходил. Он был всегда атеист, сначала красный галстук, потом комсомольский значок, застылая капля красной блестящей смолы; потом уличное дежурство, дружины, красная повязка на рукаве; потом подбивали вступить в партию, а он толком не знал, что такое партия, хотя во всех газетах хором гремели ей славу, но он ее боялся, как боится змеи в песках или волка в зимнем лесу; и он отказался, и на него в больнице косились, шептались о нем в столовой и в курилках, а потом о партии забыли: Родина лопнула по швам. Ее шивали новыми стальными иглами и новыми суровыми нитями, и он, уже бывалый хирург, наблюдал, как на Красной площади народ танцует бешеные танцы, как новым умалишенным танцем, хороводом, парами, вприсядку люди обреченно обнимают всю страну, больную, ослепшую, и дрожащими руками она ползает вокруг и впереди себя, осязает путь, — и не нашарит.

Пояс старого красного длинного халата развязался. Он завязывал его, и руки тряслись. Кошка черною худой лапой трогала красную кисть.

Нет, это не храм. Это дом. Его дом. И нет страха. Или есть страх? А перед чем страх? Перед этим пресловутым переходом? Переход. Он шептал его латинское название: репагулум. Какой, к чертям, переход! Латиняне имели в виду преграду. Забор, короче! И он подойдет к забору. Может, очень скоро. Уже пора ему. И скажет: ну вот, дурак репагулум, давай-ка и я через тебя перейду. А может, тебя просто повалить, забор треклятый? Уронить, разрушить? Пнуть тебя как следует — и станцевать на твоих деревянных костях?

Храм. Дом. Тьма. Люди за спиной. Они ходят за спиной. Время идет по земле мерными и тяжкими стопами. Матвей страшился обернуться. Он трусил увидеть время в лицо. Закрывал глаза. Сильнее горбил спину. Он думал: время, у тебя слишком яркие глаза, горящие, острые, они проткнули меня насквозь. А я еще пожить хочу!

Сидел в кресле с закрытыми глазами. Затылок ощущал чужие дыханья. Когда-то они были родными. Вскочить, замахать руками! Отогнать назойливых мух. Призраки, родные и любимые,

прочь! Вон отсюда, кыш, кыш! Холодно, насмешливо думал о себе: это работа психики, идет распад тканей, нейроны теряют силу, артерии мозга склерозируются, и делу конец.

Возник звук. Дверь открывалась. Входная? В комнату? Затаил дыхание. Губы стали холодными, а лоб мокрым. Вошли? Открыли замок отмычками?

Шаги. Медленные, осторожные. Они раздавались еще далеко.

Может, в прошлой жизни.

Я брежу, подумал Матвей, мне снится сон, и надо быстрее проснуться.

Шаги из прихожей переместились в комнату, где он сидел в кресле у окна.

Надо встать, думал Матвей беспомощно, обязательно встать!

Ноги ослабли, хилые макаронины. Он продолжал сидеть и думать о том, как он встает.

Во весь рост. И оскальивается страшно.

Важно сделать страшную маску, неподвижную, и ею, дикой, подземной, напугать бандита!

Кошка тихо, хрипло мяукнула.

Он вспомнил бандюков, что прижигали ему ступни утюгом. Он уже это все пережил; зачем Бог опять показывает это ему? Одну и ту же чёртову картинку. Ты забыл, Бог, я это затвердил уже, выучил наизусть. Сейчас отбарабано без запинки.

Люди за его спиной потемнели лицами и засветились глазами. Лица сожрала тьма, а глаза разгорелись ярче, бешеными. Они стали сбиваться в кучу. Прижиматься боками, плечами друг к другу. Они словно мерзли и хотели согреться. Как в нетопленной палате, в выстывшей больнице зимней ночью.

Люди пожирали его сутулую спину и лысый затылок голодными, горящими глазами.

Он понял, почувствовал: люди хотели пищи и ему надо было их — самим собой — накормить.

А он себя жалел, не давал кромсать никаким ножам.

Ах ты, хирург, сам-то режешь налево-направо. Сам... кромсаешь...

Шаги ближе. Ближе. Он зажмурился. Жмурься сильнее! Еще сильнее! Сейчас изпод прижмуренных век полетят искры боли и ты займешься пламенем и проснешься!

Шаги стихли.

Тот, кто стоял за его спиной, рядом с его мертвецами, молчал. Было слышно только его дыхание: хриплое, медленное, редкое.

Хрипы звучали громче, когда он вдыхал, у него булькало в груди. Выдыхал человек через заложенный нос, носом свистел, как чайник. Смешно и страшно.

И запах. Этот никогда не чуждый им запах.

Гадкая, рвотная смесь пота, мочи, моченого хлеба, водки, опилок, соленой рыбы, дерьма, дёрна, земли. И немного, чуть, горелой сдобной корки и яблочной гнили.

Еще чем-то пахло.

Таким, что из него вытекли, будто быстро и крепко выжали его, быстрые, стыдные слезы.

Матвей медленно, со скрипом разгибая колени, поднялся из кресла. Выпрямить спину было трудно. Больно. И ни к чему. В его выгнутые лопатки, в позвоночник вонзался огонь этих чужих зрячих глаз, его обдавал этот безумный запах.

«Жаль... как жаль... надо в кармане халата дома всегда... нож таскать... а лучше пистолет... пистолета нету... где я возьму пистолет... и главное... теперь уже поздно...»

Теперь надо было только повернуться. Больше ничего.

И он повернулся.

Две черные кошки, с хвостами-крючками, безмолвно, недвижно стояли за ним. У его внезапно ослабевших, с робко согнутыми коленями, тощих ног.

Напротив него стоял лысый старый человек.

А может, долыса бритый. А может, молодой — он еще не понял.

Иглы, колючки вместо волос. Колючее лицо. Грязь на щеках. Будто плакал грязью.

Лицо человека было ему тесно. В нем он задыхался. Он глазами лез, вылезал из лица, глаза умирали на лице, проклинали все, что видели, и тут же воскресали.

Они еще могли воскресать, хотя вылезали из орбит, будто на рот лысого наступили сапогом и подошвою давят, давят, и хрустят кости и зубы.

Лохмотья на плечах. Дыры вместо куртки. Дыры вместо рубахи. Лоскуты мотаются. Вспыхивают заплаты. И опять зияют дыры, а в них светится тело, век немытое, дикое.

Не человек. Зверь. Только глаза человечьи.

Стоял он спокойно, чуть ссутулясь. Будто Матвея в зеркале отражал. В самом себе. Спокойно с виду, а внутри чуялась пружина: вот-вот вздрогнет, оттолкнется ногами от половиц и полетит. Куда? В окно вылетит? Как ангел божий? Или чёртово помело? Слишком лысый. Гладкий до страха череп. Яйцо костяное, и разбить его рука тянется. Ни молота в руке, ни чайной позолоченной ложки. Скорлупа эта лишь чудится хрупкой. На деле она тверже железа.

Матвей обводил его глазами. Кто это? Скулы торчат. Щеки ввалились. Кожа обтягивает черепную кость. Голоден! Это грабитель. Это просто нищий! Он просто вперся к тебе пожрать. Как он открыл дверь? Ни ключей у него в руках. Ни отмычек. Ни лезвия. Плечом выдавил? Его железную, тяжелую как баржа дверь?

Матвей глаза на его ноги перевел. Ноги, Господи. Ноги. Эти ноги шли. И пришли. Дошли. Как они дошли сюда — в таких башмаках? Это же не башмаки. Это опорки. У сапог обрезали голенища изношенные, и вот то, что осталось, он истаскал вдрызг. Бродяга. Бедный.

Жалость вызвала в Матвее дрожь.

Он стал дрожать, сначала мелко, потом все крупнее, дрожь налетала судорогами и сотрясала его.

Глядел на него лысый человек, взгляда не отрывал.

Матвей дернул головой вверх и вбок, повел подбородком, пытаюсь лицом от этого зрячего огня ускользнуть. Не получалось.

Запахом страшным тянуло, обнимало.

Матвей вытянул вперед руки. Будто хотел оттолкнуть бродягу.

И вдруг бродяга качнулся, сильнее пошатнулся — и, будто кто его косою хлестанул под коленями, кулем повалился на пол, к ногам сгорбленного, зверем дрожащего Матвея.

— Отец!..

Волос за волосом стали подниматься на голове Матвея; неудержимо восставали вкруг лысины жалкие волосы, это пламя над ним восставало, обнимая его темя мрачно-красным, обжигающим нимбом.

— Как... что...

Он внезапно ослеп. Веки наполнились радужки и зрачки. Принакрыли, упрятали от него види-

мый мир, и этого нелепого нищего на коленях, что так нагло, дико посмел к нему обратиться. «Это всего лишь насмешка. Абсурд. Ворвался сюда. Втек неведомо. Кем притворился?! Зачем?! Бандит, а нарядился жителем свалки! Боже! Я в Тебя не верю. Но Ты не дай ему надо мной... издеваться... этому... приبلуде...»

Бритый бродяга стоял, как примерз к полу. Вошел и будто застыл; глаза застыли, руки заледенели. Губы не разомкнулись. Ой, нет, вот дрогнули и раздвинулись. Он скалился. Он... улыбался! Или сложил рот для крика? Для плача?

«Может, мне завопить и зарыдать первому? Опередить его? Обмануть?»

Руки протянуты вперед. Он сам шатается и вот-вот упадет. Нет опоры. И тяжести тоже нет. Оба невесомы. Это сон, и ему придет конец. Вот сейчас! Не приходит. Длится молитва. О чем безбожник молится? Дай вдохнуть воздух. Задыхаюсь. Я тону, и толща воды смыкается надо мной. Время всасывает меня в себя. Этот лысый зверь, зачем он свалился к ногам другого зверя, и оба дрожат. Дрожь слышна. Она слышна так же, как и запах. Остался только запах, а зренья нет, и боли нет, и мыслей нет. Есть еще слух. Но и он гаснет. Нищий шепчет что-то — он не слышит. Невнятный шорох доносится из чужой пересохшей глотки. Он хочет пить, Матвей, он долго шел по земле, дай ему напиток! Он замерз и изнемог. Неужели ты не дашь ему стакан воды? Не протянешь руку? Не уложишь на матраце своем, не укроешь теплым, верблюжьим одеялом своим? Матвей шел вперед, шагал, ему казалось, крупно, на самом деле он еле полз, ноги гладили половицы двумя холодными утюгами. Он стал видеть не глазами, чем-то иным. Видеть не только то, что моталось перед ним. А все сразу. Что сзади. Что за спиной этого лысого, бритого. Будто летел, висел вверху, под потолком. Свисала с занебесного потолка махровая, роскошная паутина. Лохмотья, коими был беспомощно укрыт бродяга, вдруг дрогнули, снялись с места, как лодки, что отвязали от причала, и тихо поползли вниз. Матвей испугался, что он весь сейчас обнажится и станут видны его кровавые язвы, подсохшие струпы. Тогда надо будет его жалеть и любить, а как это сделать, если превыше любви в тебе страх поселился? Его внутренние, страшные глаза видели, как с левой

ступни бродяги медленно свалился опорок и оголилась натруженная, сбитая пятка.

Эта голая пятка ножом резанула его по сердцу. По закрытым, слепо плывущим глазам. Глаза косили из-под век, плыли вдаль, уплывали, прошивали скользкими рыбьими тельцами плотную, вязкую и прозрачную толщу, — чего: воды? времени? боли? смерти? — они еще оба живы были, и оба связаны этим чудовищным запахом: так грубо и гадко, а вместе дико и мощно пахнет жизнь, и значит, они оба еще не пережили ее, не переплыли, — не прожили, и она у них сейчас, вот теперь, одна — на двоих.

Матвей, слепой, шагнул ближе к упавшему на колени мужику с обритой головой. Красный халат падал с его плеч. Нет, красный плащ, и невидимый ангел поправлял плащ ему, опять набрасывал на дрожащую, потную спину. Матвей, преодолевая страх пустоты, пошарил в темноте руками, нашарил сначала лысую колючую башку бродяги, ощупал ее, всхлипнул, потом возложил руки ему на плечи, и плечи мужика под его крепкими, твердыми ладонями хирурга затряслись, затанцевали в рыданье.

— Сынок мой!..

Это рот сам вылепил, за него. Он — не хотел.

Лысый-бритый нищий дернулся, будто под током. И опять застыл. Он повернул бритую башку и щекой прижимался к животу Матвея. Нежно, осторожно. Будто боялся грязной головой своей испачкать красные Матвея одежды, струи красного плаща, медленно стекающего с боков и груди. В шерстяном старом плаще зияли дыры. Они вспыхивали, как черные звезды, ткань разлезалась под руками. Нищий смиренно держал руки свои у себя на животе. Его повернутая набок голая колючая голова слабо светилась в полумраке. Свет гас в больших немых окнах, а голая башка разгоралась, как нечищенная керосиновая лампа. Лампа такая имелась у Матвеева деда, он иногда чистил ее обшлагом рукава и потом медленно, вдумчиво зажигал ее, подвертывая фитиль, пощелкивая ногтем по выпуклому гигантскому опалу, овалу толстого стекла. Мрак завладел комнатой, а нищий все стоял на коленях, отвернув набок, как гусь, голову, и Матвей все держал ходящие ходуном слепые руки на тощих плечах, с них сползали ветхие гнилые одежды и никак не могли сползти. Матвей не пом-

нил, когда он брился: вчера, позавчера или неделю назад. А может, не брился уже никогда, потому что ему щеки согревала невесть откуда взявшаяся борода. Он косил глазом на серебряные нити, сбегавшие с подбородка на грудь, и с ужасом думал: вот я уже и старик. А руки глупо торчали вперед, под ладонями плыла и горела гниль чужих отрпеньев, оба глазных яблока Матвея вращались под мелко дрожащими веками и вдруг стали падать, слепота на миг раздвинула шторы, и он плохо и мутно увидел — из-под алого его, изношенного плаща торчат его запястья, а они обтянуты красивой богатой тканью. Он, оказывается, стоял тут в шальной сорочке, небось из модного бутика, серебряные кружева умалишенной оторочкой бежали вокруг манжет, с виду гляделись как стальные; он даже подумал: вот, торчат мои бедные руки из железных кружев! но это же бабьи кружева, мужики такую дрянь не носят! — а серебристая парча блестела, посверкивала морозной дымкой, сизым инеем, и слепой глаз косил на торчащий деревянным мячом нищий затылок, от затылка шел призрачный свет. И Матвей думал, задыхаясь: «Вот, я все-таки вижу, вижу, не ослеп, спасибо Тебе, Господи».

Нищий внизу, под его дрожащими ладонями, завозился.

— Да... да... Отец!.. Прости...

Слепые глаза косили и плыли вдаль и вбок. Слух умирал и возрождался. Из тьмы бежали прибором светящиеся волны, плескали на ноги, на голую пятку бродяги. Матвей по-прежнему видел все целиком: и снизу, и сверху, и справа, и слева, и со всех сторон. И даже — вот ужас! — видел то, что только будет. Испуг и вместе радость. Так бывает! Он боялся: сейчас это все исчезнет. И бродяга пропадет. Он назвал его сыном. Что ж, спасибо ему за это. Завтра с утра надо пойти в аптеку и купить там феварин. Или реланиум. Сильные психотропные препараты пока жрать не надо. Это всегда успеется. Но психоз надо немедленно снять. Это же чистой воды психоз, Матвей Филиппыч! Ты же понимаешь, клиницист со стажем! Он все понимал, да. Но нищий в отрпеньях, вздрагивающий под его руками внизу, притиснувший башку к его животу, понимал больше него. И лучше него. И выше. И чище. И сквозь этот дурнотный, дикий запах — горячее, светлее. До слез.

— Марк?..

Мрак тесно обнял их, и во мраке они оба стояли застыв: Матвей — в рост, бродяга — на коленях.

— Я, я...

Петлю накинули на шею Матвея, и так душили, и мокрой горечью и огнем, прожигая длинные шрамы на щеках и подбородке, выходили из него, из слепых глаз его все эти одинокие годы.

— Марк, сынок... Как же так... как...

Слух опять улетучился; он не слышал, что испускали в темный воздух его омертвелые, соленые губы.

Мрак усилился, окна погасли, а потом опять разгорелись; в них загорелся ночной мир, и Матвей не мог достоверно понять, что там за окном — поздняя осень ли, ранняя ли ледяная весна, дрожащая ли зима, колышущая синий лунный маятник от оттепели до лютого колотуна, когда вороны и воробьи замертво падают с деревьев, обращаясь в мохнатые кусочки темного колючего льда. У времени теперь не было имени. Его можно было щипать за ягодицы, за безвольно висящую руку, за ногу, за нос, бить его кулаком в скулу и в затылок — ему было все равно. Оно прекратило течь и превратилось в бритую лунную голову бродяги. Луна брела-брела по небу долгие века и набрела наконец на Матвея. Уважила его старость. Сочинила ему напоследок глупую шутку про воскресшего сына.

Губы Матвея говорили. Задавали вопрос. Он сам не слышал какой.

Он услышал ответ.

— Вы рано меня похоронили!

Тогда Матвей догадался, что, как он его спросил, коленопреклоненного.

Он спросил его: «Мы тебя похоронили, а ты воскрес?»

Он восстановил из мрака свою старую, подземную боль — и ужаснулся ей.

Бродяга отнял щеку от выпяченного под рубашкой, огузлого живота Матвея. Вот теперь приبلуда задрал голову, лицо закинул, чуть выпятил вперед подбородок, опять раздвинул губы в беззубой ухмылке и слезными, влажными, чуть выпуклыми глазами глядел снизу вверх на Матвея. И тут Матвей признал его: рука бродяги вскинулась, и он быстро, мгновенно, будто

пытался муху поймать или комара убить, ушипнул себя за нос большим и указательным пальцем. Это был жест из его детства. Милого, смешного. Родного.

Руку нищий опять положил на другую руку, смиренно, как во время церковной службы, лежащую на груди. Правую поверх левой.

«Как на исповеди, и на коленях передо мной стоишь».

Матвей тихо пробормотал:

— Ну что же ты... стоишь вот так... Ты... поднимайся...

Нищий теперь смотрел не на него.

Он смотрел поверх его головы. За его плечи.

Во мрак, что клубился за его красным плащом.

А может, это красный плед, траченный молью, свисал с плеч отца.

А сын глядел на тех, кто клубился и дымился за спиной отца, во тьме.

— Батя! За тобой... люди. Я вижу их!

Матвея будто мокрым бельевым жгутом вдоль голого тела хлестнули.

«Он видит их! Значит, они все есть!»

— Не гляди туда, — прошептал Матвей, — не рассматривай их. Мы давай лучше... помолимся за них...

Бродяга ощерился.

Мелькнули в фонарном тусклом свете из окна его голые десны с редкими зубами.

— Ага, боишься! Что за них молиться? А ты что, верующим стал? Да?

Матвей не снимал рук с плеч нищего.

Нищий бесстрашно смотрел в глаза Матвею.

Его ухмылистые, гадкие губы дрогнули и сморщились. Из глаз по корявому колючему лицу, нет, это не было лицо его милого Марка, это была чужая дикая рожа, и скалилась, и язык между зубов отвратно дрожал, полились мелкие быстрые капли.

— Батя! Да ты же над Богом смеялся! У нас же дома ни одной иконы! Ты же доктор! Ты же знаешь...

Матвей стоял недвижно, его сердце, мятное и холодное, напрасно билось ему в ребра.

— Что — знаю?..

— Да что просто все! — беззубо, зло, продолжая смеяться ртом, вышамкнул бродяга. — Откинешь кони — и все! И больше нет тебя! И нет никакого твоего Бога! И ничего нет! Нет и не было!

— Нет и не было, — послушно, как волнистый больничный попугай, повторил Матвей.

Он снял руки с плеч нищего. Надо бы его поднять с пола. Хватит ему на коленях стоять. Как пахнет от него! Запах опять полез Матвею в ноздри, раздирал его изнутри. Он же голоден, черт знает сколько он шел, ничего не ел, побирался, надо быстро его накормить! И напоить. Жажда! Без пищи можно долго терпеть, без воды не продержишься и трех дней. Он просунул замерзшие от ужаса руки под мышки нищему. Стал тягать его вверх, поднимать. Тащил, а нищий упирался. Всей тяжестью повисал на его жестких, жилистых руках.

— Вставай... — бормотал Матвей. — Вставай же...

Бродяга тихо, злорадно смеялся. Смешок этот облеплял уши Матвея мелким кусачим, кровавым гнусом.

— Не встану, пока не простишь меня! Ха, ха, ха-ха-ха-ха-ах-ха-ха...

«Простить — значит признать его! Вспомнить! Но ты же уже вспомнил. Как он себя за нос-то цапнул! Марк и Марк вылитый. Жест нельзя подсмотреть. С жестом можно только родиться. И... умереть...»

Матвей дышал тяжело и громко. Уличный фонарь горел у самых ребер, у гулко бьющегося сердца дедовской керосиновой лампой. Он боялся обернуться. Бродяга видит призраков за его спиной. Не хватало еще ему увидеть их!

— Я... прощаю тебя... и...

«Что-то надо тут такое еще сказать. Что?!»

— И... принимаю... и никогда...

«Что я мелю языком. Языком своим, без костей».

— Никогда... не попрекну тебя... ничем...

«Да, да, вот так, так. Верно».

— Ну... что ты из дома ушел... бросил нас...

«А вот про это не надо. Ему и так больно. Вон слезки текут. Плачет!»

— Ты вернулся... и... давай...

«Надо его успокоить. Обласкать. Ты что, ласкать разучился?! За эти годы...»

— Давай забудем все... что с тобой приключилось... всю твою...

«Жизнь, договаривай, жизнь».

— Всю твою... жизнь...

<...>

* * *

Сын лежал, отец ухаживал за ним.

В больнице уже весь персонал знал: к Матвею Филиппычу вернулся сын и он смертельно болен. Главный врач предложил: а давайте-ка, дорогой Матвей Филиппыч, сынка-то к нам, в палату! — и получил ледяной надменный ответ: что я, сам сына не выхожу? Главный задумчиво поглядел мимо Матвея в широкое окно. Ну вы же знаете, дорогой Матвей Филиппыч, знаете... Да, кивнул он, я знаю все и даже более того. Но я верю. Главный усмехнулся. Для веры нужна не только вера, а нужны еще десятки препаратов, каждый из которых стоит сотни тысяч рублей. Он у вас еще не кричит? Еще нет, сказал Матвей и вышел из кабинета главного, и изо всех сил постарался не хлопнуть дверью.

Не было в мире ничего, что могло бы спасти их обоих.

Принести еще лекарств. Зарядить еще капельницу. Проткнуть еще вену; на локтевых сгибах кубитальные вены уже были все исколоты, он втыкал иглу в худые запястья, в синие жилки на тыльной стороне ладони, однажды воткнул в лодыжку, а сын неуклюже дернул ногой, игла вывалилась из-под повязки. Матвей чертыхался, опять иглу втыкал, руки дрожали, плакал, потом целовал сына в лоб и виски и судорожно, нервно гладил его по впалым щекам. Ты не огорчайся! Я же все поправил! Нет, лекарство не вытекло! Все в порядке! Это очень хорошее лекарство, тебе будет лучше! Завтра будет лучше, вот увидишь!

Он покупал на рынке у таджиков и узбеков рыжий урюк и колол абрикосовые косточки старинным молотком. Вынимал ядра и совал в рот сыну: жуй! Сын жевал. Ночью его тошнило и рвало. Сестра-хозяйка в больнице присоветовала ему: пусть пьет соду, один наш больной стаканами пил и поправился, вот ей-богу! Он купил коробку, на ней крупными буквами стояло: «Питьевая сода», вскрыл ее и долго глядел на мелкий белый порошок. Развел чайную ложку соды в теплой воде. Отпил глоток. Плюнул в раковину, содрогаясь от отвращения. Дал сыну выпить чашку. Ночью опять его вырвало.

На другое утро отец пошел в церковь и купил

там в церковной лавке икону Божьей Матери Казанской. На черном бархате лежали нателенные крестики, золотые и серебряные цепочки, образки: Богородица, Николай Угодник, святой Пантелеймон целитель. Отец купил серебряный крестик, пришел домой и надел на шею сыну.

— Бать, это лишнее. Ну зачем ты.

— Так надо. Это поможет.

— Чему поможет, не смей меня.

— Сынок, я сам не знаю чему. Но все носят и молятся. И ты носи и молись.

— Бать, да катись оно все к чертям, какие молитвы? Я вырос давно из этих детских штанишек. А ты, бать, видать, их еще и не примерял.

Сын пытался сорвать крест с груди слабыми пальцами, но не сорвал. Оставил.

Отец принес из больницы судно и утку. Выносил за сыном. Глядел, нет ли пролежней. Пролежней пока не наблюдалось. Сын пытался смеяться при виде утки. Чесал себе грудь под рубахой. Отец задирает рубаху и рассматривал его кожу: нет ли чесотки. Нет, просто грязь и пот, мыться пора. Отец носил его в ванну на руках. Сын очень исхудал. Отцу казалось: он, когда домой явился, был потолще. Отец давал сыну обильное питье, чайник то и дело стоял на огне. Чай, сок, минеральная вода, травы. От кашля грудной сбор № 4 — лучше всяких иностранных пилюль. Сын грыз абрикосовые косточки и горькие косточки миндаля, да грызть-то нечем — три зуба во рту, и те шатаются.

— Батя, я ведь курил когда-то. Еще недавно курил. А ты куришь? Как раньше?

— Нет, сынок, я уже стар курить. Иногда засмолю, после операции.

— А, ты все-таки оперируешь? Редко. А меня, бать, можно прооперировать? Ну, легкое мне, к примеру, вырезать к едрене-фене?

Отец думал секунду.

— Нет, сыночек. Нельзя.

— Вот даже так? Ну я понял. Кранты мне.

— Ты лежи спокойно. Я чайник выключу.

Отец выключил на кухне тонко, пронзительно поющий ржавым свистком обгорелый чайник, прикрыл глаза рукой и трясся у черного ночного окна, глотая слезы. Фонари били в окно копиями лучей. Алмазные навершия разбивали стекло, оно затягивалось трещинами,

как инеем. Отец вытирал ладонями мокрое лицо и выходил к сыну улыбаясь.

— Сынок, а на ужин у нас сегодня тушенный кролик!

— Батя, я не буду есть кролика. Мне его жалко.

Кто это сказал, взрослый мужик? Или ребенок, весело сидящий на детском деревянном стульчике и размахивающий вилкой в крепко сжатом кулаке? Он проткнет себе вилкой глаз, осторожней! Выньте у него из руки вилку, отберите!

Вилка лежала на столике. Рядом с салфетками. Сын вертел в руках серебряный крестик. Рассматривал, как сушеную стрекозу.

За окном плясала вьюга. Матвей слушал хрипы сына. Он слушал их как музыку. Сын еще жив, и отец еще жив. Они оба живы, и это уже счастье.

Отец присел на край дивана. Диван сердито скрипнул. Простыня сползла, обнажив зеленое озеро смешного гобелена, ветки сплетались, деревья клонились, по веселому небу неслись пухлые сдобные облака. Рука больного бездвижно лежала поверх одеяла. Восточные кошки, свернувшись в черные шелковые клубки, спали у Марка в ногах. Отец положил руку на руку сына и тихо, тихо попросил:

— Сынок. Расскажи мне о себе.

Сын разлепил ссохшийся рот.

— О себе? А разве...

Отец понял, он хотел спросить: а разве все, что было со мной, правда?

— О своей жизни. Ну, как ты жил.

Сын облизнул губы. Отец глядел на его жесткий, как наждак, бледный язык.

— Бать. А разве я жил?

— Ну, жил, конечно. И теперь живешь!

— А когда помру? Молчишь?

— Ну, не хочешь, не рассказывай.

Отец хотел встать с дивана. Услышал за собой хрип:

— Черт с тобой, батя. Слушай. Расскажу я тебе.

Только обещай...

Матвей повернулся к сыну. Губы его стыдно дрожали.

— Что?

— Что ни разу меня не прервешь. И реветь, как баба, не будешь.

— Обещаю.

Матвей ссутулился. Взял руку сына в обе руки.

Погрел его руку дыханием, будто сын шел долго по морозу и вот пришел в тепло, и замерз, и дрожал, и он хотел ему своим теплом его ледяную, железную руку отогреть.

Одна черная кошка на миг проснулась, вытянула по одеялу тонкие бархатные лапы. Потянулась. Коротко муркнув, уснула опять.

Сын набрал в грудь воздуху. Хрипы усилились. Он стал рассказывать.

Рассказ сына был страшен.

Отец видел себя в сыне, как в кривом ужасающем зеркале.

Но кривое это, ледяное зеркало бесстрашно отражало погибшую правду.

Правду — и время.

РАССКАЗ БЛУДНОГО СЫНА

Я хорошей жизни хотел. Нет! Батя! Неправильно я сказал. Не хорошей, а роскошной. На вокзал сперва пешком пошел. Потом думаю: что это я как нищий! Тачку тормознул. Богатую. Водила на меня косит, с таким презреньем. Я его мысли читаю: пацан, килька в томате, ты ж за десять метров дороги не сможешь зачистоганить! Я ему говорю: «На вокзал гони». У вокзала встал, смеется уже в открытую, ждет. Я вытаскиваю деньги из-за пазухи, пачку. И отслюнявливаю водиле черт знает сколько. У него шары вывалились. Я дверью сильно хлопнул. Бать, я деньги у тебя украл. Я шел и шептал себе под нос: «Я вор, вор». Это звучало как «герой». Я впервые в жизни у отца украл. И это оказалось так классно. Наслаждение! Безнаказанное! Мне за это никто пощечину не даст, к стенке не поставит! Вокруг меня люди крутятся. А я — столб карусели. Вокруг меня все кони бегут, и ослики, и козочки, и яркие шары, и девчонки и мальчишки на лошадаках сидят, в трубы дудят. Дуду! Громко продудели! Мою жизнь продудели! Да, все эти люди. Все поезда эти. Я оглянулся туда-сюда, к кассе подошел. Деньги из кармана вынул, они потные. Я их крепко в кулаке зажал. Жалко отдавать. Руку все равно в окошко просунул. И сам нагнулся. Кричу: «Мне билет один! До Москвы!» Москва казалась

огромным пряником. Град-пряник. Откусить хоть кусочек. Про себя я думал: ну я-то уж не кусок, от меня-то уж не откусят. Кассирша мне орет из-за стекла: «Вам на ближайший?!» Я ей ору: «Да! На ближайший!» Она мне: «А он отходит через десять минут, успеете?!» Я ору весело: «Успею! Я быстро бегаю!» Кассирша выписала мне билет и дала сдачу. Я стоял и глядел на деньги на ладони. Бумажки и кругляши, серебряные, медные. Денег стало меньше. И жизни — меньше. Я побежал на перрон, мой поезд отходил уже, медленно так от перрона отчаливал, я впрыгнул в вагон на ходу. Отдувался. Пот лил с меня. Проводник долго изучал мой билет, чуть на зуб не пробовал. Я устал ждать, когда он мне билет обратно отдаст, и бросил ему сквозь зубы: «Ну, ты! Давай кончай изучать бумажку, не докторская ведь диссертация!» Он ткнул мне билет в пальцы и тоже сквозь зубы процедил: «Щенок, куда едешь, ты, рожа воровская!»

Он как чувствовал, тот проводник, что я вором стану, — мятая пилотка, грязная рубашка клетчатая, форменный пиджачишко на тощие плечи накинут. От рожи у него табаком пахло: курильщик. Ну очень тощий. И кашлял надсадно. Вот как я сейчас.

Я несколько не жалел больных. Болеешь? Ну и болей. И вообще, я не жалел никого, кто страдал, и в особенности кто жаловался. На жалость бьешь? А не хочешь, я тебя тоже побью? Словами, да. Или просто от души по морде дам. И тогда иди жалься кому другому. Юный был, жестокий. Нет, бать, я и сейчас жестокий. Еще больше жестокий, чем прежде. Просто я видел жизнь с разных сторон. Со всех, наверное, сторон я ее видел. Мне повезло. А тому, кто плачется, не повезло. Он увидел только ее пыточные орудия: дыбы, клещи, топоры, испанские там сапоги всякие. А я еще кое-что у нее видел. Потом, бать. До всего еще дойдем.

Поезд ехал себе, у меня щеки горели. В зеркале в вонючем туалете я глядел на свою румяную рожу. Кудлатый, лохматый, красный как рак, веселый, столица нашей Родины скоро-скоро, — эх, гуляй не хочу! Живи! А как я хотел жить? Я и сам не знал. Ноль мыслей в башке. Нет, что-то такое, роскошное, я себе воображал, конечно. Ну, комнату найду, сниму. Телефонную книжку

в киоске куплю. Буду по телефону звонить туда, сюда, в разные крутые места. На работу устраюсь? Нет! Зачем мне работа! Можно прекрасно жить и без работы. Да! Прекрасно!

Я не размышлял особо, какой это способ — превосходно жить без работы. Я знал.

Я знал: я буду вором. Так захотел.

Вор — это тот, кто отнимает у другого сначала его вещи, потом его мысли, потом... его жизнь, это понятно, сейчас мне понятно, но тогда я об этом еще пугался думать. Гнал от себя эту мысль, о чужой жизни. Я хотел сначала немножко пожить — своей. А моя — она какая? Немножко денжат в кармане куртки, напротив сердца, и ветер в голове! Метель, пурга!

Поезд подгребал к Москве, и золотая осенняя метель, из листьев, что по ветру неслись, сменилась белой. Первый снег, мать его! Я таращился в окно. Эх ты, какие огромные дома! Я никогда таких не видал. Я сидел на вагонной полке открыв рот. Поезд шел между домами, как корабль во фьорде. Дядька, попутчик, зло сказал мне: «Закрой пасть, парень, муха влетит».

Вышел. Давлю ногами перрон. Следы мои на снегу. Черные утюги! Вспомнил, как ограбил магазин с дружками. Дружки в тюряге. А я на свободе. Значит, я умнее! Да знаю, знаю, бать, ты заблажишь сейчас: это я, я тебя выкупил! Ну, выкупил, ну, так захотел. Сыночка спасти. Это твое личное дело. Что, скажешь, сам бы я не вывернулся? Вывернулся. Я — скользкий. Я — уж, угорь. Иду вперед, плыву, угорь. Толпа вокруг. Толпа везде одинакова. Подошел к вокзалу. На нем объявления ветер рвет. «СДАМ КВАРТИРУ», «СДАМ КОМНАТУ НА НОЧЬ», «СДАЮ ЖИЛЬЕ НА СУТКИ, ПЛАТИТЬ ЗАРАНЕЕ», ну и все такое. Я несколько адресочков оторвал. Пригодятся. Вошел в здание вокзала. Это Курский вокзал был, на Курсняк мой поезд приплюхал. Вошел — и застыл. Страшную картинку вижу, бать. На полу бродяги вповалку лежат. Кто спит, кто ворочается. Воняет от них! И все, как монахи, в черном. Будто по команде в черную одежду нарядились. Или она от грязи черной стала? Спят. А один среди спящих — сидит. И что-то в руках перебирает. Будто четки. Я издали не видел. Ближе подошел — гляжу: это баба, как мужик, в штанах, и она вяжет. Крючком вяжет черный берет. Вдруг ноги у меня

ослабли. Я жрать сильно хотел. А баба от вязанья глаза поднимает и — в меня их вонзает. Как два крючка. Молчим, и она и я. У нее щеки ввалились и глаза голодные. Я ей говорю, на автопилоте: «Мать, я щас в буфет схожу, пожрать куплю!» Она мне: «Бреши больше!» Я пошел в буфет, купил сосиски в тесте, по карманам рассовал, купил два бумажных стакана горячего черного кофе. Несу кофе этой бомжихе, он дымит. Или оно? Пес с ним. Ставлю бумажный стакан на гранитные плиты, рядом с теткой. Она растерянно вязанье положила на колени, и я сосиску в тесте ей прямо в этот ее дрянной черный берет, на колени, как в миску, кладу. Бросаю небрежно: жри, бабка! И сам рядом с ней на корточки сажусь, кофе отхлебываю, язык обжигаю. Бать, ну до сих пор помню вкус сосиски этой в тесте, тесто чуть подсохло, а сосисочка отменная. Сочная. А баба, в растерянности, как-то неловко локтем двинет — стакашек бумажный набор — бульк, и кофе как выльется, да под спящего рядом бродягу как потечет! Обожгло ему бок. Он дернулся, привскочил и как заорет на весь вокзал: ты! туда и сюда тебя так-перетак! Жужелица! Меня облила! Так у меня щас ожог третьей степени на пузе! Ответишь! Мазь мне в аптеке купишь и пластырь, растуды тебя! А тетка в это время берет сосиску и ест. Глядя на меня. И я ем. И мы оба жадно жрем эти сосиски дерьмовые. И смеемся. И вдруг меня сон сморил. Я сам не помнил, как я на полу этом оказался гранитном, на этих вокзальных плитах холодных, и руки себе под щеку подкладываю, и уже соплю, храплю. Сквозь сон еще помнил: тетка ко мне наклоняется и что-то мягкое мне под голову подсовывает. Этот ее черный берет шерстяной. Неоконченное вязанье. Вместо подушки.

Провалился в сон, в ночь. Вдруг среди ночи — меня по плечу — бац! И еще раз, по голове: бац! И по спине: бац! бац! Очень больно. Жуть! Я продрал глаза, а вскочить не могу, меня бьют и бьют. Тот, кто надо мной стоит, хорошо размахивается и крепко бьет. Я рассмотрел: дубинкой милицеской. Резиновой. От души лупит! Я ору. Кровь по лицу льется. Пытаюсь в сторону откатиться. А тот, кто надо мной, за мной идет. Я качусь — а он идет и лупит! И лупит! Рожа уже вся расквашена. Э, да их тут много! Ментов! И все в черном! Uniformы новые, как у фашистов! И все бродят

бьют! Бродяги кричат, руки вперед выставляют, руками защищаются. Бесполезно. У одного бомжа с носа сбили очки, стекла разбили, вся будка в крови, он орет: «Ах вы стервецы, ах вот ваша вся демократия вшивая!» Я ищу глазами тетку мою. Нашел. Уж лучше бы не находил. Ее за шиворот мент волокет. Доволок до барной стойки, хорошенько размахнулся — и дубинкой — с размаху — поперек лица загвоздил. Она как упадет навзничь. А у нее из-за пазухи вдруг — зверь вылезает! Маленький такой зверек! Белая мышка. Или крыска, не знаю. И зверек жалобно пищит, и он весь в крови. А баба замертво валяется. Черный мент ее бьет под ребра сапогом и выдыхает, как пьяный: «Развелось тут дряни! Вставай! Вставай!» Мышка белая ему под сапог сунулась. Он сапогом на нее наступил и придавил. Я впервые видел, как при мне убивали животное. Кровавая лепешка на граните. Она только пискнула, когда ее давили. И тетка лежит. У меня в ушах вдруг, бать, птички запели. Зазвенели, крохотные, колибри, соловушки. Зачирикали. Я даже боль ощущать перестал. Лежу как мертвый. Глаза закрыл. Черный поганец перестал меня бить. Я приоткрыл глаз. Черный всматривался в меня. Потом пнул, не сильно, а слегка: ты, мол, откуда тут затесался? Одежка на тебе клева. К бомжам зачем прибилсь? Что, не чуешь, как воняют? Или у тебя тут кто родственник? Я медленно сел. Вокруг меня ворочались, стонали избитые среди ночи бомжи. Я глядел на застывшую под вокзальными лампами бабу. Лежала не шевелясь. И рядом с ней раздавленная ее мышка. Я сказал менту: вот она моя родня. Тетка моя родная. У нас дом снесли, для новостройки, я к бате жить поехал, а она вот бродяжить пошла. А ты зачем нас бьешь? Чем мы тебе не угодили?

Черный уже не слушал меня. Он уходил, утекал вместе с другими черными. Они вразвалочку шли по Курскому вокзалу, ноги кривые, дубинки от крови тряпками вытирали. Может, носовыми платками. Я не разглядел.

Бать, мне потом эта мышка раздавленная ой как долго снилась. Только засну — зверек приходит. Живой, и мордочка остренькая, и весь беленький, будто снеговой, и рядом садится. И лапками мордочку умывает, а глаз — черная бусинка. Я бы такую мышку себе завел. Зачем ты

мне слезы вытираешь? Брось! может, я поплакать хочу. Носом пошмыгать.

Они ушли. Я встал. Гранитные плиты в крови, в табаке, что просыпался из рваных сигарет. И этот черный берет. Недовязанный. Я его с пола поднимаю. И на голову напяливаю. Вот, думаю, первый снег на улице, а я из дома отлично убежал, без никакой теплой шапки, и в одной куртяшке задохлой, и кроссовочки не для зимы. Ничего, шептал я себе зло, вот настоящим вором стану и все самое лучшее себе куплю.

Вор, бать, вор. Сколько романтики! Москва раскрывалась, как черный веер, и на нем — приклеенные блестки ночных фонарей. И глаза девок блестят. Ночью по Москве тогда много девок шаталось. Они все различались, кто что умел. Табель о рангах. Привокзальные. Эти давали даже на рельсах. Машинные: ну, кто около шоферов трется. Банные, это понятно, где промышляют. Когда шел мимо саун, часто встречал таких. Они и зимой, в морозы, перед сауной топчутся в лисьих шубенках чуть ниже жопки, в телячьих сапожках, в сетчатых колготках, — мерзни-мерзни, волчий хвост. Те, что снуют в толпе: их в толпе сразу видать — ярче всех накрашены, и опять же в любой мороз без шапки, волосы замысловато уложены и все на виду. И серьги люто сверкают. Гостиничные около отелей тусуются. В кучки сбиваются. У дверей топчутся, к иностранцам ластятся. Возьми нас, возьми, от нас откуси! Еще частенько, столичными безумными ночами, видал я таких: рожи не первой свежести, и потрепанные, и даже уже откровенно старые, но вот он тебе грим, умелая краска, и за молодуху во мраке сойдешь, — они расхаживали у обычных домов, и сами типовые, банально так одеты, а это всего лишь означает, что в этой хрущевке подпольный бордель, и это рыбачки Сони как-то в мае перед своим офисом слоняются, гуляют. Ловят. Вор ловит одно, шалава — другое. А я что ловил тогда в Москве? Судьбу свою ловил. Подворотни! Мое время пошло, новое. Застучали часики, побежал отсчет. Мне будто голос с небес был: лови момент, другого не будет. И терпи все, что тебе под ноги на дороге упадет. Поднимай! К сердцу прижимай! Даже если это граната-лимонка и сорвана чека!

Так вот с шалавами этими я отчего-то быстро

общий язык находил. Чем это я им так приглянулся? Ума не приложу. А вот поди ж ты. Иные, как меня завидят, так хохочут, ладошку к губам крашеным прижимают, и ладошка вся пачкается в помаде. Я себя оглядываю: смешной я такой, что ли? Другие пальцем подзывают меня к себе. Одна, волосы иссиня-черные, на крупную вороную кобылу похожа, так подозвала меня, вынимает из кармана яблоко и мне дает. Яблоко, бать, ты такого никогда не видел. И я тоже. Это не яблоко, а целая тыква. Такое большое. Я яблоко беру обеими руками, прижимаю к животу. А ее товарки, этой, чернявой, вокруг нас кругом стоят, пальцами тыкают и вопят: «Ева, Ева!» Ева, мать ее. Так звали ее, я понял. Яблоко я сожрал. А чернявую под локоть подхватил дядька, круглый как шар, из шара палочки торчат: две ножки и две ручки. И повел, и она шла и не упиралась. Шла на работу свою.

Я догадался: шлюшкам я маленьким казался. Ну, пацаненком. Худенький, глаза большие. Обманчивое впечатление. Я был взрослый, хитрый и умелый. И ни жалеть, ни ласкать меня не надо было. Я хотел на первые большие украденные деньги купить себе большой хороший пистолет. Потому что я тогда уже знал: отстреливаться придется.

Да, подворотни. Я с вокзала начал и подворотнями продолжил. Почему? А очень просто. Я хотел грабить, а ограбили меня. Пока я на вокзале том дрых на холодном граните, у меня из куртяшки, из кармана напротив сердца, все, бать, твои деньги, что я у тебя слямзил, и вытащили. Кто? Может, тетка та, с мышкой? Не думаю. Тетка эта, в портках мужских, была, я это чувствовал, честной. Ну, может, где со столов в буфете и тащила недоеденный крендель. А впрочем, зачем ручаться! Никто не знает, на что он способен. Я вот знал точно. Я хотел красть, а после жить хорошо, сладко.

Страну, бать, ты ту помнишь. Не помнишь, так напомним! Страна вся была одна сплошная огромная подворотня. И в нее не ходи. Заловят, руки за спину заломят, по карманам пошарят, и скажи спасибо, что по затылку камнем не дадут. Иду по Москве. Красивый городишко, черт! Небоскребы, стекло, бетон, а тут колонны с лепниной, а тут решетки чугунные, кружевные. И церкви, церкви. Вон как боженку любят, купо-

ла аж до слепоты начистили! Новые храмы наспех строили. Я эти новоделы не любил. Уж лучше старина. Однажды я в церковь забрел, прихожанином прикинулся удачно, потихоньку к иконе одной маленькой подгрел и, пока поп гундосил, а певчие пели, среди теплой толпы и кучи огней незаметно смог ее со стены снять. А скрытых камер тогда в церквях не понатыкали. Я иконку под куртку — вжик! — и пачусь, пачусь. Вот я уже у двери. И надо же, старухе на ногу со всей силы наступил. На больную. Она как взвояет! И блажит на всю церковь: «Отдавил, отдавил! Ножечка, ножечка моя!» Все на нас стали оглядываться. И вижу, сквозь толпу эту умоленную мент пробирается, в форме, все честь по чести, прямо ко мне. То ли он тут молился, то ли это у них такая охрана маячила. А тут, как назло, у меня икона из-за пазухи выпала! Я ее подхватил и опять за пазуху, да все уже все увидали. Заорали как резаные! Я повернулся и бежать. Он за мной. Я деру дал как следует! Выбежали из храма. Я бегу впереди, он следом, и свистит в свисток. Подворотня! Я в нее. И между домов сную, и пригибаюсь, думаю, как бы не стал ментяра стрелять! Подворотня, счастье мое, вот и ты на доброе дело сгодились! Убежал я тогда. Унесся! Только и слышал за собой свисток. Свисти, мент поганый, все деньги высвистишь!

А иконку ту я дорого тогда загнал. В одном антикварном салоне, не в центре, нет, на окраине. Антиквар долго вертел икону, мял ее медный оклад, как старый драп. Щелкал ногтем по грязным рубинам, по гладким зернам опалов, в них красные огни перекачивались, по мелкому просу речного жемчуга. «Сколько ты хочешь?» — спрашивает, исподлобья глядит из-под совиных очков. И глаза выпуклые, птичьи; еврей, должно быть. Я говорю сколько. Цену я заломил, это да. Но это потому, что я никаких цен не знал. Брякнул наудачу. Антиквар пучеглазый головой покачал, как маятник: туда-сюда, туда-сюда. «А ху-ху не хо-хо? Губа не дура. Но ты ее, мой мальчик, раскатал!» Я пожал плечами и цапнул иконку со стола. За пазуху засунул и шагнул прочь. Человек-птица схватил меня за полу куртки. «Ну, ну. Не кипятись. Думаю, сговоримся». И мы сговорились.

Я был впервые в жизни богатый, бать. Жутко богатый! Конечно, сейчас вспомнить про эти

иконные деньги смешно. После всего, кем я был и чего навидался. Но тогда! За пазухой вместо краденой иконы у меня лежали в конверте новенькие хрустящие бумажонки. Я жмурился, как кот. Гуляй, рванина! Для начала я зашел в модный бутик, долго оглядывал полки, долго шастал меж вешалок и примерял всякую всячину, зырил на себя, красавца, в примерочной в большие, до потолка, зеркала, а на меня подозрительно косились продавщицы, а я делал им глазки и губки складывал, как они, сердечком, дразнил их. Девчонки фыркали и поворачивались ко мне спиной, задика обтянуты короткими юбочками, такие дивные задика, крепкие орешки. Они ждали, что я у них вот-вот что-то куплю. Я ничего у них не купил. Надул я их! Пошел в магазинишко дурацкий рядом, в обычный, и там приоделся. Я решил не сорить деньгами. Москва есть Москва! В ней надо иметь за пазухой на черный день. А потом, надо же жить где-то, снимать комнату, а еще лучше, пусть это и другие бабки, хату снимать, в хате твори что хочешь, догляда за собой нет, ты не представляешь, бать, как я нажился дома, под надзором неусыпным, туда нельзя, сюда нельзя, это полезно, это вредно, руки по швам, а где был, а ну дыхни, а ну кивни, а ну пырни! Вот свобода. Она и правда сладкая! Слаще меда! Вино, пей и пьяней!

А вокруг шумела, вспыхивала и шуршала ценными бумагами, а может, предсмертными прощальными письмами бешеная девка Москва, старая шалава, накрасилась густо, а штукатурка сыплется, и себя за молодуху выдает, дорого продает, да ей никто не верит! Около станций метро, круглых каменных жерновов, стояли бабы с вещами в руках. Вещи разномастные: шапки, сардельки, мыло, духи, шампунь, булки, старые бусы, и вертят на красных на морозе пальцах, кто с пишущей машинкой в мешке топчется, мерзнет, кто с перепелиными яйцами в изящных коробочках, кто бобровым воротником, со старой шубы срезанным, трясет: купите! купите! ах ты черт, бать, как ты пел раньше: купите фиалки, букетик душистый! Морозец знатный, ну, я и решил, я ж при деньгах, себе норковую шапку купить. И купил! Нашел! Отличная шапка, и мне как раз. Совсем чуть-чуть ношенная. И просто за копейки! Бабенка мне кланялась вслед, будто я

был царь Горох. Я в шапке иду. На Москву гляжу! Будто лечу над ней, и сверху вниз на Кремль смотрю и на ее Красную площадь! Шарф у меня через плечо, ярко-красный, цвета крови! Смешливо думаю: на Лобном месте в крови, брат, выпачкался! И что ты думаешь? Сдернули с меня в подворотне эту шапку. Когда я к себе домой, в комнатенку свою, по снегу плыл! Каморку я у самой Красной площади и снимал. Тоже за копейку! Дом на слом. В том доме жили дворники, бедные актеры, нищие художники и пара бомжей. И я. И туда, в старый, как белый школьный скелет, дом этот надо было опять подворотней идти. Напали! Подножку сунули. На снег повалили! Избили. Деньги выгребли! Шапку сорвали! С моей буйной... головы...

Опять я без денег, и опять бедняк — ну как это переварить? А?

И главное, как из этого выкарабкаться?

Тут волей-неволей вором станешь. Обретешь все воровские ухватки.

А вся Москва, да и страна вся стала воровской малиной. Жестко говорю, да? Это я еще слишком мягко. Вся страна стала одной огромной подворотней, ни конца ни краю. И всех, кто мимо этих чугунных ворот бежит, грабят: р-раз — из-под арки — рванутся, мешком накроют — цоп тебя, и обчистили! Ободрали как липку! Оглянуться ты не успел. И хорошо еще, если под зад ногой поддали, бежишь, не оглянешься. Скажи спасибо, не убили! Жизнь! Все в жизни приспособляются. Не приспособишься, не выживешь! Не повалеешь, не поешь! Приспособление, бать, это такая беспощадная штука. Как воровство. Раз сворует, потом не удержишься, тыришь. Раз приспособишься, подлижешься, приклеишься — и напешься, и обогреешься, и выживешь, — потом уже без этого подхалимажа жить не сможешь. В крови он уже течет! Вот скажи, что мне делать было? Я нищий. Голый абсолютно. Все мечты о богатстве разбились, как хрустальный, ешки-тришки, бокал. Из комнаты выперли. На вокзале ночевать? Домой вернуться? Домой, бать, да ты не смотри так. Не нужен мне уже тогда дом был, и ты не нужен был, и мешанская эта житуха не нужна. Советские вы люди все равно. Краснофлажные. Старые книжки вы, и страницы жук поел. Старые

трусливые ежи. А тут иное время настало. Злое, да! Но яркое. Ослепительное.

Иду вечерочком одним по Тверской. Везде надписи на Тверской на магазинах и ресторанах уже английские. «ПИЦЦА ХАТ» — читаю. А слюнки текут! Не для меня. Не для меня Дон разольется, не для меня, не для меня. Из ресторанов сытые люди выходят, на иностранных языках лопочут. У меня с английским всегда было плохо. Я не умел ни цокать, ни шепелявить. Ни катать гласные во рту, как леденцы. А интересно, о чем говорят. Ни черта не понимаю. Встал рядом. Тихо так стою. Мужик такой, веселый, кудреватый, дамочку под ручку держит. Бабенка ничего. В соку. Мужик староватый, но ничего, сойдет. Видать, сговорились. А я тут воздух ушами стригу, зачем? Хотел уже плюнуть и отойти, пока меня не турнули, и тут к бабеночке подкатывается хмырь и шуруется на рекламу. Наш, русский хмырь. Ну, думаю, ясен пень, сутенер. А дамочка — валютница. И тут этот хмырь ей такое говорит — у меня уши на затылок сами двинулись. «Дашка, — говорит, — я еще двух стариков обработал, и еще четверых Ванька Луков привез, короче, у нас сегодня три хаты наших, да одна проблема, забиральщика нам надо! У тебя, Дашк, на примете никого нет? Мы отлично будем башлять! Чувак не обидится!» Дамочка, Дашка эта, не отбирая руки своей у иностранца, наклоняется к этому хмырю, шуруется и цедит: «Может, и есть, а сколько платить-то станешь?» Хмырь рот открыл. И изо рта у него вылетела такая цифра — закачаешься. Я и закачался. Улица Тверская, вечер, холод, фонари. Бабы носы в шарфы кутают. Лохматый иностранец кудерьками трясет. А хмырь неотрывно на Дашку смотрит. Я под фонарями, в свете жутких красных реклам, будто на меня кровь чья-то льется, шагнул вперед из тьмы и проблеял: «Ребята, тишина в студии, я буду вашим, этим, как его, забиральщиком».

Они все трое на меня уставились. Прохожие идут мимо, реклама горит в высоте, струит красную ледяную кровь. Я стою с чувством собственного достоинства, не дергаюсь, не шустряю. Ну я же не сявка! Не жалкий фраер какой-нибудь! Жду. Хмырь меня от затылка до пяток обсмотрел. Будто на мне, как на рояле, грязными пальцами все клавиши перебрал. И послушал, как

звучу. Звук мой ему понравился. Он улыбнулся. И Дашка эта разулыбалась. А чужеземец стоит, башкой кудрявой встряхивает и даме все бормочет: «Летс гоу, летс гоу!» Ну эту хрень даже я понял. Пойдем, пойдем! И за руку ее тянет. Она вынула из кармана костюма маленький перламутровый веер и этим веерочком иноземного мужика по рукаву ударила. И по-русски сказала: «Отстань, подожди!» И к нам повернулась. Хмырь опять улыбался. «А ты не боишься?» Я хоть и тощий с виду, а парень не промах. «А ты-то сам не боишься? А то за угол зайдём, и...» — «Что «и», ствол вытащишь?» — «И вытащу», — сказал я и засунул руку в карман, вроде как там вольну ощупываю. Хмырь подмигнул дамочке. «Смелый парень!» Дашка эта зубы в улыбке оскалила. «Я смелых люблю». — «Но, но! — вскинулся хмырь. — А меня? Я еще какой смелый!» Иностраный мужик покорно ждал в сторонке. Он ни черта не понимал по-нашему, я видел.

«Давай работай, — подмигнул Дашке хмырь, — а мы с парнем пойдем перетрем все дела». Дашка под ручку с иностранцем усвистала, а мы с хмырем пошли перетирать дела.

Ночь опустилась. Черный платок валяется на Москве, на всех ее башнях, шпилях, крышах и трубах. На куполах. Дома горят, крутыми софитами подсвечены. Мне часто эта ночь снилась, ночь и Москва, Замоскворецкий мост, желтый, как сотовый мед, Манеж, красные зубчатые стены, река черная, в диких огнях, масляная, огромные купола, размером с подлодку, и эти звезды кровавые, кровь в них мерцает и медленно перетекает, можно видеть кровь света, как на рентгене. И все здания алмазными гирляндами облеплены. Как елки. Елки-палки, короче! Вот по такой ночке мы с хмырем и идем. Он мне: «Давай знакомиться! Митя Микиткин». Я буркнул: «Марк я». — «Марк, а дальше?» — «По батюшке тебе?» — обозлился я. Митя прищелкнул пальцами. «Дерзкий! Люблю! Наш человек!» Я недолго думал. «Не наш, не ваш и никогда ничьим не буду». Митя скорчил рожу. «А зачем же тогда со мной поперся? А может, я тебя сейчас куда заведу...» Я уже смеялся. «И что, заведешь, на столе разложишь и выпотрошишь?» Он тоже смеялся. «Заведу, руки свяжу, на столе разложу и поимею! Власть!»

Время, скажешь, такое было, бать?

Извращения всякие? Бать, кончай. Пороки были всегда. И будут всегда. Их человек с себя не стряхнет, не выведет их на себе, как вшей.

Долго ехали на метро. Приехали. Станция «Перово», жить там х**ово; станция «Новогиреево», жить там еще х***вей. Вылезли. В автобус сели. Ехали-ехали-ехали. Шли-шли-шли. И пришли. В чистом поле, на пустыре, стоит домик-крошечка, в три окошечка. Длинный такой, будто конюшня. Или свиноферма. И вроде бы пахнет свиньями. А может, навозом. Я нос ворочу. Митя меня, как даму, под локоть по грязюке ведет. Ворота ногой толкнул. На крыльце мнемся. В дверь постучал условным стуком. Дверь нам открыли. В коридоре темень. Из темноты два глаза, как два карманных фонаря. Как у совы! И веками хлопают. Мультик, короче. Я, как дурак, кланяюсь. Митя опять берет меня за локоть, только уже крепко, не вырвешься. И бросает этим совиным желтым глазам: «Нашего человека привез. Забиральщика. Неопытный? Всему обучим».

Так, батя, я стал забиральщиком. Что тарашисься? Слово плохое? Не хуже и не лучше всех остальных. Я забирал из столичных квартир стариков и привозил их сюда. В дом престарелых. Митя Микиткин называл его пышно: дом милосердия. Там такое милосердие творилось! Погоди, до милосердия еще дойдем. Какие старики сами подписывали документы. Какие — под нажимом. Какие швыряли бумагу в лицо нашим агентам, и агенты пятились и проваливали, а на другой день у подъезда тормозила машина и из нее выскакивали мы. Забиральщики. Звонили в дверь. «И хто та-а-а-м?» — «Слесаря. Плановая проверка канализации!» Дедушки, а особенно бабушки страх как боялись, если канализацию прорвет. «Ща-а-а-ас!» Долго кряхтел ключ в замке. Бабка или там дедка открывали дверь. Воняло черт-те чем. У кого горелым печеньем, у кого мочой. Мы врывались. Хватали старика, старуху за жабры. Совали в рот кляп. Аккуратный такой, резиновый. На детскую клизмочку похож. Укутывали в шаль. Чтобы лицо закрыть. Ножки свяжем, ручки свяжем. И — на носилки. И — несем, будто в скорую помощь; а мы-то в белых халатах, как медбратья, все честь по чести. Не подкопаешься. Да никто и не подкопывался.

Старикан уже в машине. На сиденье сажаем, у него зенки из орбит вылезают. Мычит! Водитель с места в карьер. Где-нибудь уже за Кольцевой — кляп из зубов вынем. И хохочем, ржем! А старикан плачет-разливается. И верещит: «Только не убивайте! Только не убивайте!» Мы ему: «Сдались нам твои старые кости, дедок». — «А куда ж вы меня везете, милки?!» — «Куда надо. В дом милосердия!» И привозили. И сгружали перед крыльцом. И выходил, бать, знаешь кто? Главный врач этого самого дома. Как его звали, угадай с трех раз. Верно, Митя Микиткин.

Стариков этих мы там недолго держали. Убивали, спросишь? Вон глаза какие страшные сделал. Они сами мёрли. Мы их заставляли работать. Кого сапоги тачать, кого бревна таскать. Знаешь, бать, уроки великого Советского Союза не прошли даром. Беломорканал там, Чуйский тракт! Селечка соловецкая, мать ее! Уголек воркутинский! Труд облагораживает человека, внушали мы им, труд освобождает. Трудитесь хорошо — и мы вас выпустим отсюда. Они верили. Даже кто шить сапоги не умел — шили! И халаты синие, черные на швейных машинках строчили, рабочие робы сатиновые! Мы их потом на Черкизовском рынке продавали. Хорошо те халаты шли. И сапоги сбывали. По дешевке. А старики долго не выдерживали. Жизнь моя, кинематограф, черно-белое кино! Дошли. Просто пачками. Мы их нарочно плохо кормили, дерьмово, суп в рот не возьмешь, второе как замазка. Витаминов нет, свежего воздуха нет, кого и били, издевались, прямо по лицу лупили, они на пол головой шмякались, сотрясение мозга, ать-два, и в дамки. Ну, на тот свет, значит. Я первое время забивался в угол, забирался на чердак, там такой чердак был, голубиный, а может, мышиный: то ли птичий помет всюду валяется и, сухой, хрустит под ногами, то ли мышины слезки. Я туда приду, скрючусь в углу, возле слухового окошка, и реву. Ревел всласть. Ну, тогда еще, наверное, человеком был. А потом стал постепенно превращаться в железную болванку. Так было легче жить. Выжить.

Старуха там была одна. Ох, хороша! Голова на шею гордо сидит. И плевать, что шея сморщена, как у черепахи, а волосы как метель белые. Зато какие густые! До старой собаки густые. Воображаю, в молодости какая была.

Огонь, конфетка с коньяком. И стройняшка! Никаких жиров на задку и животе, никаких толстых подушек. Подтянутая, что тебе балерина. Волосы эти метельные, густые, в прическу укладывала, крупными кольцами. Фыркала: «Что у вас за бардак, тут вообще душ есть или нет? А джакузи?» Микиткин хапнул у нее удивительную квартиру: с зимним садом, с малахитовым джакузи. На улице Чайковского, в сталинском доме напротив американского посольства. Не квартирка, а мечта поэта! Красивую старуху звали чудно: Нинель Блэзовна Ровнер. Я думал, она еврейка. Ан нет. Она мне про себя рассказала. Отец, Блэз, был француз. Парижанин. Украиночку в Одессе подцепил. Еще до революции. Хохлушечка забрюхателя. Нинельку родила. А французик погиб, в лучших традициях, на баррикадах — в красной Одессе, сражался за русского царя. Легенда, выдумка уже этот царь был! Что за вчерашний сон биться! Убили его. Мать Нинелькина ее петь выучила. Нинелька консерваторию окончила, с блеском. В театральный институт в Москве поступала. А ее взяли и в одном летнем платьице — в телятник, и на восток, в Приморье, в уссурийские лагерь. За что взяли? А это ты Сталина спроси, за что. За красоту, видать! Туда много евреев отправляли, Сталин, видать, как Гитлер, с евреями боролся. И девочка эта нежная, худышка, а голос у ней с целый дом, в глаза бросилась этому ее муженьку, Ровнеру. А Ровнер-то кто был? Ни за что не догадаешься. Флейтист из оркестра Госфильмофонда! Нинелька кошкой жмурилась: «О, Марк, если бы вы слышали, как флейта пела в его руках!» И вы пели вместе с флейтой, брякнул я. «И я пела», — кивнула она, и лицо у нее, знаешь, таким стало серьезным и таким красивым, что я впервые в жизни захотел у женщины руку поцеловать. У старухи. Но для Нинель времени не было. А-а-а-а... Извини, зеваю.

Она от гнева умерла. Да, от гнева! От злости тоже умирают. Я теперь знаю. У нас там, в доме этом милосердия, был подвал. А проще, погреб. Туда мы спускали особо вредных стариков. Ну, когда кто провинится, не сделает дневную норму или поскандалит. Или еще что-нибудь отчебучит. И вот старик там был один.

Простецкий такой, совсем не изысканный, говорил даже на «о», как деревенщина. Ухватки грубые. Короче, люмпен чистый. От станка. Или вообще от сохи. И вот Нинелька к этому старику душой прикипела! Что она в нем нашла? Я зайду в каморку, где спала Нинелька и еще шестеро старух; глядь, опять они оба на кровати сидят, и рука в руке, как голубки. Любовь такая, глупость большая! Я, честно, дивился: и в девяносто с гаком лет, оказывается, можно любить! Да еще как! Смотрят друг на друга, не насмотрятся. Мужик, старый гриб, и старая королева. Мезальянс, черт! И, знаешь, доставляло мне удовольствие несказанное на этих старых голубей глядеть! Однажды я зашел, они так сидят. Я им от двери бросил насмешливо: ребятки, козлятки, поцелуйтесь! Слабо?!

И они... бать, они... поцеловались...

И вот этот старикан, мужлан, не помню что сделал, но Митьке не понравилось.

А для шкодливых стариков у нас особое наказание было.

Митька сам производил казнь. Он вразвалку подходил к старику, который набедокурил, и внятно, угрожающе говорил: «Папе не понравилось!» И старик начинал дрожать мелкой дрожью. А Микиткин медленно так берет его за шкуру и медленно тянет за собой, и доводит до входа в погреб, и ногой отпахивает доски, что дыру закрывают. Вглубь ведет лестница. Шаткая. Иные старики с нее падали, а глубина погреба метра три или больше. Разбивались, кости ломали. Оттуда, из-под земли, охи, вопли, стоны. А Митя крышку закроет, песенку сквозь зубы засвистит и так же вразвалочку уйдет. На весь дом эти стоны разносятся. На вторые, третьи сутки утихают. А через неделю Митька сам в погреб спускается. Если старик еще жив — он его добывает. Рукоютью волыны по башке. Но там, в погребе, чаще всего уже мертвец валялся. Меня или кого другого из забиральщиков звали на подмогу. Мы спускались по лестнице в черный ад и вытаскивали оттуда, из ада, мертвых ангелочков. У них такие лица были, бать! Ты таких никогда не видел в своей больнице. И не увидишь. Человек, который умирает не просто в муках, а в ужасе и унижении, у него такое лицо, такое... передать не могу. Перевернутое. Мир для него перевернулся. И лицо перевернулось. На месте

рта — глаза. Подо лбом — рот. Поглядеть, кондратий хватит, не очухаешься.

Старик тот, Нинелькин запоздалый хахаль, на койке своей сидел колченогой, морщинистую рожу вскинул, когда Митька к нему утенком разлапистым подходил. Митька подошел и руку тяжелую старикану на затылок положил. Так подержал. Потом ка-ак даст ему подзатыльник! Старик с койки на пол свалился. Другие старики завозились, заахали. Митька пинками его поднял и пинками же погнал вперед. Старичок брел, спотыкался и чуть не падал, за стены держался. Я понял, куда Митька его ведет. В погреб. Так и есть. Довел, крышку откинул, под мышки взял и вниз спустил. Старик цеплялся за ступеньки чаклой лесенки и орал недуром. Митька захлопнул крышку. Я слышал, как он крикнул над закрытой крышкой погреба: «Посиди тут, подумай о жизни!» И ушел. Вразвалочку, как всегда.

Потом, помню, мы ели в специальной, для нас, жральной комнатенке. Ну, вроде столовой. Варила нам одна из старух. Она сначала отказывалась, Митька выпорол ее ремнем, и она стала стряпать. Она раньше работала поварихой. Сам бог велел.

И вот мы поели-попили, а меня тошнит. Тошнит уже от всего этого. И хоть Микиткин нам всем, и забиральщикам, и юристам, и водителям, деньги хорошие платит, я подумываю, как бы отсюда сделать ноги. Спасибо, как говорится, этому дому, пойдем к другому! То-се, дальше время течет, я про старикмана того и думать забыл. А тут мне Митька водочным хрипом на ухо шепчет: ты поди красотку кабаре проведай, кажись, бабка помирать собралась, ну так давно ж пора. Я вспомнил про старикашку. «А тот, хахаль ейный, с мордой как у селедки, он где? в подвале?» Митька хохотнул. «Эка припомнил. Да его ребятки давно уж в лес сволокли. И закопали. А мадамку его в погребицу не спустишь. Она сама по себе сдыхает. Лежит злая как черт, как я подойду — мне в рожу плюнет! Бить ее бесполезно. Она вся будто из железок скручена. Поди глянь, а?» И я пошел в палату к старухе.

Палата, громко сказано. Каморка! Как у них у всех тут, у стариков. Подхожу к ней. Лежит, вытянулась. Койка под ней не шелохнется. Как мертвая. Глаза открыты. В потолок смотрит. Я протянул руку. Я ее, бать, пожалел. По лбу мра-

морному погладил. Эй, говорю, Нинелька, ну, это самое, Нинель Блэзовна, вы как тут? вам, может, поесть принести? С другой койки старушня жалобно верещит: «Дык это, парнишечка, дык она не ист ничево уж какой денек! Она голодовку объявила!» Я старух обвел глазами и грозно спрашиваю: «Вы что, хотите сказать, что у нас тут тюрьма, да?» Все молчат. Пришипелись. Я сел на табурет у изголовья старухи. Руку ее в свою взял. Ну как доктор, елки. Или как этот ее хахаль, покойный. И нежно так ей говорю, и голос мой, слышу, дрожит, и стыдно мне все это лепетать, но вежливо лепечу все равно: «Вам обязательно надо пожрать. Ну хоть немножко. Я вам куриного бульона принесу, с белым мясом». Мне с кухни миску куриного супа приволокли; его старикам не положено было, а варили только нам, персоналу; старуха поварила мяса щедро, от сердца, наложила. И хлеба белого кусочки. Я кусочек раскрошил, в бульон покидал. Ложкой подцепил и Нинельке в рот сую. А рот у нее уже как дупло в коре дуба. Она лежит, глаза в потолок уставлены, но головой вдруг как мотнет, и плюнет, и ложку боднет, и ложка в одну сторону полетела, суп в другую, на колени мне вылился, горячий, а я на табурете весь оплеванный сижу. Обжегся. И в слюне старушечьей. Анекдот! Я это перетерпел. Себе говорю: может, она уже с ума сбежала и вся эта еда напрасна. Миску крепче ухватил и ложку в рот ей опять толкаю. Она опять плюет. И вдруг рот разлепляет — и мне говорит, хоть и без вставных челюстей валяется, да отчетливо так, зло: «Убийцы. Дряни. Грешники вы великие. Вы будете гореть в аду. Если не покаетесь. Бог — есть!» И замолкает. Старухи вокруг крестятся испуганно, молча. Говорить боятся. Я тихо поставил миску с бульоном на пол. Вроде как для собаки. А собаки нет. Они все тут собаки. Принимаются, суп чуют, вот-вот загавкают, еды попросят. И уже вижу: голодные, к миске подбираются. Тихо тапками шаркают, подползают. Жадно на миску эту глядят, глаза горят! Я обозлился. Встал, к двери шатнулся выйти. И тут за спиной голос услышал, Нинелькин, жесткий, злой: «Нам ад при жизни сделали! А вы в аду будете гореть после смерти! Вечно!»

И больше она, мать, мне ничего не сказала. И никому.

Умолкла навсегда. И так, молча, и померла.

Мы мертвых стариков закапывали в ближнем лесу. Сначала на опушке, потом в глубь леса стали продвигаться. И Нинельку в лесу закопали. Я сам закапывал. Я яму рыл, напарник мой Нинельку к яме в мешке доволол, и так, в мешке, мы ее в яму сбросили и землей забросали. Забросали, я себя слушал, нутро свое: как я? переживаю, нет ли? что я чувствую? ну хоть что-нибудь чувствую? Я ничего не чувствовал. Как панцирная сетка. Дзынь, и тихо. Дом милосердия шиворот-навыворот то пустел, то опять наполнялся. Мы процветали. Микиткин богател. Нам отламывались от краденых стариковских квартир кусочки. Он нас хорошо содержал. Чтобы мы горя не знали и могли хорошо жрать и хорошо развлекаться. Я в Москву часто ездил: в рестораны, в киношки, залавливал дешевых девчонок, я ж говорю, они меня любили. «Марк, душечка! А ты при деньгах? Марк, хочу ликер «Амаретто»! Марк, а пойдем в зоопарк, хочу на павлинов поглядеть!» Кто-то из них вел меня к себе в хату. Малина, хаза, опасный кельдым! Кто-то забегал со мной прямо в подворотню. Тьма, снег, ветер, я портки расстегиваю. И мы оба смеемся. Эх, кабы знать, что я буду те деньки-ночки вспоминать как самое светлое времечко! Несмотря на то, что я в доме том милосердия — на смерть работал...

Батя, в жизни есть только смерть. Ты ж это тоже прекрасно знаешь, вшивый ты доктор Лектер.

И это уже тогда знал. Знал, что без смерти никакой жизни нет, и смертью за жизнь надо платить, и смерть жизнью, да, можно побороть, только временно. Все на свете временно! Вечна только смерть. А мы еще копошимся, дергаемся. По мне, так давно надо перестать дергаться. Конец один. Видишь, каков я? Погляди на меня. Блевать не тянет? Да ладно, отвернись. Я не об этом. Зашел в кафешку, там зеркала до потолка, у зеркала стоит красавец парень, Том Круз просто, аж лоснится от красоты, в зеркалах отражается, вертится, себя, как бабенка, придиричиво разглядывает. А я разглядываю его. Беззастенчиво. Он меня в зеркале увидел. Обернулся быстро. Глазами меня измерил. Думаю: сейчас бросит мне ругань, как кость, а я ее подберу, сгрызу и его позову: пойдем выйдем. Ну, из кафе на воздух, чтобы удобнее в морду

дать. А он вместо матюгов — мне так изысканно: «Привет! Ты отличный типаж. Я как раз такого, как ты, искал! Тебя как звать?» Я приосанился. «А тебя?» Мы сразу стали на «ты». «Я Антон Богатов, а ты?» Я буркнул: «Марк». — «А фамилия?» — «Неважно». — «Будем снимать, что, псевдоним в титрах?» Я вытаращился. «Я не шлюха, чтобы меня снимать!» Он хохочет. «Дурень, я режиссер. Мы тут фильмец один забабахали! Ты нам подходишь. Ты что в жизни-то делаешь?» Ну не говорить же этому Тому Крузу, что я стариков втихаря убиваю. Я и отвечаю: «Ничего не делаю. Жизнь прожигаю. Жгу с двух концов!» Он опять хохотать. «Не промах ты! На тебе визитку. Звони! А у тебя визитки случайно нет?»

Бать, я визитку впервые увидел. Вертел долго в пальцах квадратик глянцево-яркой бумаги. Том Круз исчез, как дым рассеялся. Вокруг меня зеркала кафе, холодные, я словно среди айсбергов один стою. Даже жрать расхотелось. Кино! Вот так история! Значит, от Митьки надо сбегать. А тут такое дело. Митька в дом милосердия на этот раз не старика привез, не старуху. А девчонку. Такую странную, до предела. Я про себя называл ее — девочка из будущего.

Ада ее звали. Милое имечко, да? Она была эмо. А, брось, все равно не поймешь. Черные чулки, полосатая кофта, руки в рукавах прячутся. Волосы пестрые: прядь черная, прядь розовая, прядь седая. Ощущение, что о башку ее художник кисть вытер. На груди, на бельевой веревке, болтается игрушечный череп. Веки накрашены так, что вместо глаз на роже торчат две черные дыры. В волосах бантик, как у куклы. Умора. Она мечтала о смерти, Ада. Только о ней и говорила. В первый же ее вечер в доме милосердия мы с ней курили вместе, на тумбочку блюдце чайное поставили пепел стряхивать. За сигареткой она много чего мне поведала. Тебе это неинтересно. Я ее спросил: ты что, Митьке квартиру подписала и он тебя на ренту обещал посадить? Ты что, больна неизлечимо, спрашиваю. Она ржет-смеется и новую сигарету из пачки тянет. Пока сидели вечерок, всю мою пачку искурила. Я только глядел, как она дым колечками пускает. Нет, говорит, я не больна. Но умереть, говорит, хочу. И очень даже! Я ей: почему? Жизнь что, такое уж дерьмо? А она мне: нет, жить, может, оно и клево. Но умереть — это высший кайф. Кайф —

не быть. Тебя нет, и ты не страдаешь, и никто не страдает вообще. Нет — великое слово. А у тебя, говорит, еще сигареток нет?

Ну я, вместо сигареток, ей и брякнул: радуйся, тебя здесь живо укокошат! Тебя куда надо привезли! Она ресницами накрашенными хлопает. Меня, говорит, Дмитрий сюда привез позабавиться. Ну, отдохнуть. Ну, с ним отдохнуть. Ну, покурить, мне шнурки курить запрещают. И с мужиками спать тоже запрещают. А я хочу. Смеется, а зубы черные. Черной краской выкрашенные. Жуть. Я на зубы ее смотрю. Оторопь меня берет. Я шепчу ей сквозь дым: поспите всласть, и он тебя прямо в постели задушит. Что будет с родителями твоими? Она мне так серьезно: у меня шнурки крепкие, они выдержат. А когда я умру, мне до них дела не будет. А им — до меня. Поревут и забудут. Все на свете всё забывают!

А у меня под темечком одно бьется: кино, кино. Кино, вино и домино!

Ночное кино, жесткое порно, с Адой в главной роли, я не видел. Но слышал. И все забиральщики слышали, и все старики. Ну, может, только совсем глухие не слышали.

Через пару дней я подобрался к ней и тихо, но отчетливо сказал у нее над ухом: сегодня делаем ноги, готовься. Она вздернула плечи. Потрогала этот свой дурацкий глиняный череп на полосатой груди. Тоже тихо отвечает: а что готовиться, я готова, хоть сейчас сорвемся. Вот тебе и жажда смерти. Каждый, каждый хочет жить. Даже четвертованный, обрубок, самовар. Даже этот, как его, лысый хibaкуся, облученный в Хиросиме япошка: ему на земле всего ничего осталось болтаться, два понедельника, а и он хочет жить. Даже эти, эмо. Умру, умру! А сама: давай, Марк, не зевай, спаси меня. Осень, дождь, иногда со снегом. Я уже в куртке накинутой, вроде прошвырнуться в лесок собрался. Ей бормочу: куртку надень. Она мне: нет никакой куртки у меня, ваш Дмитрий меня у дома подловил и в машину затолкал. Я мусор выносила. Все так быстро случилось! А сейчас случится еще быстрее, сказал я ей зло и рванул за руку. Вечер, темень, одинокий фонарь над воротами. Мы за руки взялись и быстро идем. Скользим по грязи. Обувка сразу вся перепачкалась. Я все ждал, что нам в спины начнут стрелять из-за ворот. У Митьки на крыше

всегда сидел наблюдатель вооруженный. Куда он провалился в непогоду? Может, покурить спрыгнул или отлить? Факт тот, что мы до леска добежали нормально. В тишине. И только когда взбежали на опушку, вслед зашелкали выстрелы. Я толкнул Аду в спину: ложись! Сам на землю упал. Поползли. По грязюке. Как по сырому тесту ползли. Изгваздались оба в край. В лесок вбежали, я знал тропу к шоссе. Побежали. Бежим и падаем. Ада зацепится ногой за сосновый корень — и бух! Я поднимаю ее, вымазанную, и дальше чешем. Как к шоссе подковыляли, не помню. Дождь такой сек, что мало не покажется. Ада мне кричит: тачку не заловим, нас таких в тачку никто не посадит, попачкать побоится! Я выбежал на середину дороги и раскинул руки. Стою крестом. Машины дудят! Одна тормознула. Дверца открылась, из дверцы на меня — ушат матюгов. В бога-душу-в-бога-душу-в-бога... Я морду трагическую скорчил. Кричу: за нами погоня! спасите! Голос изнутри проорал: «Да скорей вы, в бога-душу-мать-перемать!» Мы, все в грязюке, бухнулись на сиденье. Водила с места в карьер взял. Орет: «Вы что, ограбили кого?!» Ада молчит. Я тоже как воды в рот набрал. Водила гонит тачку, шпарит чуть ли не на красный свет! Цедит сквозь зубы: «А это что ж такое, в бога-душу, а?!» И оборачивается. И мы, немые, оглядываемся. И видим, хорошо видим: за нами машина чешет, и эта машина — Митькина, и из этой машины в нас — стреляют.

Батя, батя, ну вот в тебя стреляли когда-нибудь? Нет? Ну и сиди тогда молчи в тряпочку! Ты не знаешь, каково это, когда пули свистят, а потом свист будто захлебывается, это пуля в твою тачку воткнулась. И стекло разбила. Или в сиденье застряла. Водила, с матерками, по шоссе виляет, газу дает. Погоня за нами! Мы на сиденье сжались, пригнулись. Он вопит нам: «Хрен ли я подобрал вас, щенки вонючие! Сейчас меня расквасят, и вас долбанут, и делу конец!» Газует изо всех сил. Тачка аж трясется. Все из нее выжал. Оторвались. Кольцевую проскочили. Слава богу, без пробок. Уж поздний вечер. Москва, дома. Мрачные каменные сторожа. Шоферюга нас вывалил около светофора, на перекрестке. Мы — деру, а он нам в спины кричит: «В рубашке родились, вы, придурки!» Мы сами виляли по улицам, переулкам, пробе-

жим десять метров — оглянемся, туда-сюда зыркаем, а на нас дьявол из блестящих прозрачных витрин — корявым манекеном смотрит. Кривой козел, да, а чуть отойдешь — из другой витрины — он же — лощеный такой, правильный, гладенький, глазки улыбочивые, ротик красочкой подмазанный, как у гея, а из ушей дым валит, и изо рта — дым. А может, дьявол курит, не знаю. Да, курит, и пьет коньяк, и девочек целует, и все что угодно. Может, человечек вшивый как раз этому всему у него научился. Мне один умный мужик, поп-расстрига, объяснял: человечек слаб, мелочен, мал, подл и грешен! Человечек гадок, мерзок, похабен, он пошлый и ушлый! Он только притворяется, что создан по образу и подобию Бога. Хотя, продолжал этот занятный поп, росло это деревце в райском саду, ну, это, с яблочками, и вот все кричат: любовь! любовь! — а первым людям даже как следует полюбоваться не дали, завопили со всех сторон: грех! грех! И что, висит золотое яблочко? Висит груша, нельзя скушать! А если тот Адам просто-напросто жрать хотел? И баба о нем позаботилась. Всего лишь! А вы на весь мир раскудахтались: грех, грех! — закрикали...

Грех, грех. Мы вместе бежим по улицам. Улицы свиваются в ленту. Витрины и рекламы мигают, пестрят, по зрачкам больно бьют. Сливаются в одну яркую цветную кашу. Мы ею давимся. Шарахаемся. Мы...

...они сцепились руками крепко и больно, их руки не разорвать было, только если разрубить, и то Марк тянул Аду за собой, то Ада вырывалась вперед и, как на аркане, тащила за собой Марка. Сиамские близнецы. Бешеные двойняшки. Хотят родиться на свет и не могут. Ночной дождь сечет их лица, плечи и спины, они оба вымокли, будто в собственной крови, так темно, страшно стекают по ним толстые, перевитые, как веревки, струи ливня. Ливень тьмы, грохот орудий неба. Небо обозлилось на человека и решило его исстегать. Исхлестать, издубасить до смерти бичами ледяной воды. Неон адски горел над головами людей, гигантские рекламы вздувались и гасли, а потом срывались с насиженных мест и улетали во тьму, как воздушные шары или сиротливые громадные древние птицы. Махали светящимися крыльями. Фосфор светился и трещал.

В костер ночи люди подкладывали дрова: свои холодные и жалкие тела. Марк спиной понял: сейчас! Резко присел, дернул руку Ады. Оба миг, другой сидели на корточках. Пуля ушла над их головами. Разрезанный ею воздух неслышимо сомкнулся. Марк ввалился в темную круглую арку проходного двора. Ада — за ним. Они опять побежали. Задыхались. Белки глаз Ады блестели. У нее с черной челки свалился в грязь розовый бантик. Глиняный череп, выпачканный в грязи, мотался на груди. Кофта из кокетливо-полосатой стала половой коричневой тряпкой. Марк понимал: радоваться рано, за ними могут ринуться в подворотню. Он потянул Аду в глубь дворов, запутывая след, то и дело шарахаясь в такие щели меж домов, где мог пролезть только кот или тощий шкет. Они царапались, скреблись, вырывались из каменных когтей. Ползли и выползали. Оставляли на гвоздях и колючей арматуре, на ее железных костях клочья одежды. Дьявол гнался за ними по пятам. Он корчил им рожи. Они страшились оглянуться: думали, оглянутся — и застынут под ледяными, властными глазами рекламного василиска. Зрачки пульсируют красным неонem. Голубая и зеленая холодная кровь медленно, вспыхивая, течет по вздувшимся стеклянным жилам.

Ах ты, дьявол. Смышленный. И пахнешь ты паленым мясом. А, черт, это же из рестораничка так пахнет! Забегаловка в подвале. Они мимо бегут. Что, если? Он переглянулся с Адой. Дождь бил в их лица и нагло полз по их трясущимся губам. Они оба и правда очень замерзли. «Нас туда не пустят», — тихо сказала Ада. «Плевать, — ответил Марк, — нам их разрешение ни к чему. Мы сами войдем». — «Ты знаешь волшебное слово?» Она пыталась смеяться, не получалось. Из витрин, сквозь их прозрачное толстое стекло, обильно и мутно политое дождем, на них глядели, подбоченясь, изумительные, блестящие, крутые мэны и обалденные телки. Роскошь столицы так и перла из них наружу, ее было видать за версту, и манекены так тщательно копировали живых людей, что у мужчин хотелось попросить прикурить «Мальборо», а одну из картонных девчонок ткнуть пальцем в бок — может, у нее живое ребро! — и прогундосить ей в ухо: мать, да ты совсем даже ничего, одолжи на ночку жемчужное ожерелье твое, дай поносить! На смуглых

пластмассовых грудях мерцали камни: рубины, изумруды. Марк ногой толкнул дверь в подвальчик, откуда ползли сытные запахи. Они с Адой скатились по мрачной лестнице. Вошли в зал, и люди, жующие и пьющие за столами, уставились на них, с ног до головы в грязи, мокрых, с дикими, полными ужаса глазами. Марк не растерялся. Он выдохнул — громко, на весь ресторанный зал: «Только что со съемок! Кино снимают! Мы участники массовой!» Люди молча продолжали есть и пить. Только из-за дальнего стола раздался равнодушный, звенящий железом о железо, механический голос: «Кино? Где, где?»

И все смолкло. Играла тихая музыка. Марк подмигнул официанту. «От вас тут можно позвонить? Режиссеру». Халдей презрительно обвел его сонными, будто пьяными глазами. Марк видел, он не верит ему. Но подвел его к барной стойке, к телефону. Марк пошарил в кармане и вытащил грязной дрожащей рукой, как курьей лапой, визитку режиссера Богатова. Набрал номер, пачкая пальцем циферблат. Трубку взяли. «Але? Антон? Это Марк, привет. Вот, звоню. Вот...» Он правда не знал, что говорить. Красавчик Том Круз по имени Антон на том конце провода засмеялся и крикнул: «Ты сдобные булочки любишь?!» Марк отнял трубку от уха и очумело уставился на Аду. Она сидела за столиком и грела руки дыханьем. Ее сложенные у груди ручки походили на маленький голый череп. Грязь медленно ползла у нее с висков по щекам, как черные слезы. Жрущие и пьющие тарасились на нее, но молча продолжали есть. В ресторане угощение превыше всего. Хоть костер тут загорись посреди зала, люди с места не тронутся. Так же будут сидеть и грызть цыпленка табака. И пить херес. И курить. И молчать. В ресторане всегда хорошо молчать, эй, ты, не замечал?

«Люблю!» — глупо крикнул он в ответ. Ухо ловило время и место встречи. Мозг деловито запоминал. Записать было нечем и не на чем. Рот повторял чужие слова. Марк подумал о том, что все мы в жизни говорим одни и те же слова. Только каждый складывает их в речь по-своему. Этим все мы и отличаемся; а так все мы одинаковы. Все мы, подумал он вдруг со странным облегчением, будто кто-то оправдал его, отмыл и очистил от тяжкого греха, все мы воры, ворует друг

у друга и прощения не просим, потому что не за что и не у кого. Разве вор у вора должен прощения просить?

В переулках жуткого града осталась их бегущая жизнь, застыла плывущая грязь. Дьявол скорчил пьяную рожу и подслушивал их теперь здесь, под землей, среди дымов и ароматов. Марк пошарил в карманах куртки. Бумажник был при нем. Он прерывисто, как ребенок после рыданий, вздохнул. Подсел за столик к Аде. Шепнул: «Пойди умойся». Она встала как пьяная, шатнулась вон из зала. Потом вернулась, и Марк с изумлением глядел на ее насквозь мокрую одежду. Его спасенная эмо выглядела как мокрая курица. «Что ты наделала?» — «Я постиралась», — просящим прощения тоненьким детским голоском вывела она фиоритуру. «Что тебе заказать?» Ада бестрепетно протянула пальчики к меню. «Дай я сама выберу».

Она долго возила зрачками по строчкам меню, что-то бормотала, Марк плохо слышал. Потом ткнула в меню пальцем, тоньше вязальной спицы. Он прочитал: «Бургундское, бокал». «А пожрать?» — сердито спросил. «Я хочу согреться», — проблеяла она и застучала зубами.

Еду он заказал сам. Принесли поднос, ставили на стол блюда. Над мясом вился парок. Вино мерцало свежей кровью. Марк уже знал маленькую курильщицу: заказал пачку сигарет «Кэмел». Эмо жадно ела, жадно и быстро выпила вино, жадно курила сигареты, одну за другой. Они молчали. Зубы Ады перестали стучать. Щеки зарумянились. Марк думал про сдобные булочки. Наверное, Антон имел в виду толстеньких, аппетитных бабенок, смутно думал он; а халдей, по одному щелчку его пальцев, уже волок новый поднос с новым угощением, и Марку нравилось чувствовать себя в глазах малютки Ады всесильным богом.

Они переночевали в гостинице около метро «Октябрьская». Спали на одной кровати, вальтом. Утром, в дикий дождь, шли пешком через Крымский мост, опять держались за руки и смеялись. Дьявол, что бежал за ними, хитро прикинулся громадным городом — руки дьявола превратились в каменные столбы, ноги — в стальные опоры мостов, круглым животом станции метро он катился на них из-за поворота, ухмылялся и пропадал вдали острым, как нож,

шпилем высоты. Город, мир и дьявол теперь составляли одно. Марк не мог их пока различить. Махал рукой: да ладно, потом. Они с девчонкой шли мимо витрин, и да, жизнь была витрина, за ее стеклом они могли хорошо и подробно рассмотреть себя — и сами себе они не нравились.

А ты бы могла работать живым манекеном, спросил девчонку Марк. «Могла бы! — гордо вскинула голову эмо. — У меня подружка знаешь кем работала? Рыбой! Ну, приделали ей рыбий хвост, блестящий такой, и плавники, на башку и на спину, к лифчику прицепили, и она плавала в огромном аквариуме, в рыбном магазине на Солянке!» — «И что, — потрясенно спросил Марк, — долго проработала?» — «Нет, недолго! Она под водой задохнулась! Не выплыла вовремя и воду вдохнула! И захлебнулась! Не откачали!» Эмо подумала малость и выдохнула: «Счастливая!» — «Так, может, зря я тебя от Митьки-то увез», — вкрадчиво спросил Марк и подмигнул Аде. Она хохотала под дождем, закидывая голову, и в хохочущий рот ей влетали дождевые струи: она пила вино небес.

Они появились в назначенный час около дома, где их ждали. Ждали одного Марка, но он позвонил в дверь и, когда ее открыли, вытолкнул Аду вперед себя. Богатов уставился на девчонку. «Это что еще за чудище?» Марк прищурился, глядел из прихожей в сияющий роскошью зал: на столе, среди ярких яств и бутылок, стоял черный жостовский поднос, на нем горкой лежали крошечные сдобные булочки с изюмом. Богатов проследил за глазами Марка. «Еще теплые!» — похвастался он. Девчонка сбросила ботинки, Марк не стал разуваться. Так, босая и обутой, они прошли туда, где им теперь надлежало быть, жить: в новую жизнь Марка.

Новая жизнь загомонила, вспыхнула, развернула веер и стала им заманчиво обмахиваться. Лукаво и бесстыдно. Сдобные булочки сладко пахли. Он слышал голоса: «Сухостоев, Сухостоев!» Огромный лысый человек шел по залу, раздвигая пространство лбом и гладкой, как кегля, головой. Руками делал такие движения, будто плывет. Толстые руки смахивали на неповоротливые ласты. Подвижные тонкие, замысловато изогнутые губы играли на лице. Марк воззрился на него и понял: это он к нему идет.

Сейчас его новая жизнь без стеснения подойдет к нему, хлопнет его пухлой ладонью по плечу, как по заднице, и выпьет с ним вина. На брудершафт.

Светские гладкие плечи, полоумье тусовок. Антон Богатов сразу окунул Марка в ту воду, где он не плавал ни разу и не знал, как плыть и в какую сторону. Марку вся толпа, бестолково крутящаяся, нарезающая круги вокруг пиршественного стола, казалась странным детским фильмом, давно забытым мультиком: вот кланяются и выпрямляются фигурки, подают друг другу кукольные ручки, деревянно смеются, стыдливо зевают, вынимают из бумажников игрушечные деньги, — где я, кто меня нарисовал и оживил? Сдобные булочки, с виду вроде оторопь и ужас, а на деле — никакой загадки. Антон просто их очень любил, особенно свеженькие, с пылу с жару. Время плыло мимо них грязной водой, мутной и вонючей, и так важно было, побултыхавшись в его месиве, принять чистый холодный душ, растереться и запустить зубы в свежий горячий хлеб. В булочку с изюмом.

Режиссер Богатов снимал странный фильм, он свято верил, что фильм будет иметь бешеный успех в первые дни проката; это была лента про человека, который убил женщину и всю жизнь в этом каялся; еще там были наркоманы, их осудили и посадили в тюрьму; еще там были подростки, что брили головы налысо, вздергивали кулаки и кричали: «Убей иностранца!» — а еще был один герой, совсем не главный, но именно его Антон предложил сыграть Марку; человек, что задумал обокрасть другого человека, слишком богатого, — а вышло так, что он обворовал целую страну.

<...>

Страна обратилась в такой гремющий костями скелет, из пыльного школьного кабинета анатомии, и страна мерно и медленно шла в завтрашнюю гибель, прикидываясь живой. Красное знамя сдернули с древка и растоптали, извозили в грязи. Новое, трехцветное, удивляло, как новое концертное платье знаменитой старой актрисы: а вот здесь, где морщины, заколите брошкой, пожалуйста, а вот здесь, не бойтесь, поглубже вырез! Народ бежал ночью на Лубянку и прыгал

вокруг памятника давно мертвому вождю. Народ стаскивал эту позеленелую тяжелую бронзу с пьедестала и плясал на поверженном монументе, как пляшут на костях врага. Народ бежал к дому, где пряталась власть, и защищал этот дом от огня, а другая власть дом расстреливала, как человека. Народ голосовал и надрывал глотки, бесился, дрался. За что? Марк не понимал. Он пожимал плечами: пусть дерутся. Звери всегда в клетке дерутся. Все равно мы все в клетке. И вся задача — стать дрессировщиком.

Для этого надо своровать зверью судьбу.

Ты хищник, ты загрызешь! И не сомневайся! Марк сказал режиссеру: Антон, отпусти на волю, хочу пару деньков отдохнуть. Богатов засмеялся: организуем! У меня отец на Красное море летит, с зазубой, может тебя взять! На Красное, осторожно спросил Марк, а это далеко? А это где? «Темнота, — фыркнул Богатов, — атлас изучи! Хургада, курортник — супер! Там плывешь, а по дну морские звезды ползут, яркие такие, оранжевые!» Звезды, повторил растерянно Марк, морские. А потом спросил Антона: «Антош, а ты что это так меня обихаживаешь, как девицу? Что, нравлюсь так?» Богатов вздернул подбородок. «Хороший вопрос, парень. Получишь хороший ответ. Все слабаки, а ты силен. И умен. Но только, увы, сам об этом не знаешь». Расхохотался, раскатисто и обидно. Марк вторил: стыдно было молча столбом стоять.

Он не признался Богатову в одном желании: не столько на роскошные моря он хотел попасть, сколько — к забытой и одинокой земле, и остаться один. Пришел на Курский вокзал. Сел в электричку. Поехал на восток. Вылез где в голову взбрело. Перешел рельсы и вошел в лес. Ноги вязли в снегу. Шел, ветви хлестали по лицу. Черные стволы перемежались красными. Деревья оживали и тянули к нему руки, он шарахался. Ему чудилось, деревья кричат: «Камера! Мотор!» Послышался шорох и тихое хорканье. Дорогу ему пересекли маленькие кабанчики; они бежали глубоко в снегу, над скатертью снега виднелись только их мохнатые полосатые спины. За ними развалисто шла матка, мощная черная свинья, темные лохмы висли с ее круглых боков и мели снег. Марк встал недвижно и глядел на кабанов. Секача поблизости не было видно. Да Марк и не думал

об опасности. Странное глубокое, сонное равнодушие охватило его. Он вспомнил маленькую эму. Ее тонкий мышинный голосок запищал у него в ушах: «Ты никогда не знаешь, где тебя обнимет смерть! Она такая загадочная! Она — красавица!» «Красавица, тьфу!» — тихо плюнул он в сугроб. Кабанчики заметили его и быстрее побежали вперед, разрезая ногами и грудью снежную толщу. Свинья обернулась и глянула на Марка красными глазами. Он человеку не глядел в глаза, а вот свинье — посмотрел.

И он...

...и я, бать, почему-то четко учуял, глядя в красные глаза свинье в том зимнем лесу: я — в услужении у смерти, у гибели, да. Ну благо бы я был ракетчиком! Или там служил в войсках любого рода! Или, к чертям войска, просто был бы наемным киллером! Кстати, модная профессийка тогда стала, бывшие биатлонисты хорошо зашибали на этом деле. Я никогда не стрелял, а видишь, убивать уже умел. Смерть, она такая разная. Разномастная, собака! Я это свое чувство черного слуги топил в наших пирушках. Антон, ты понял, был разгульным дядькой, любил размахнуться по полной программе. Деньги позволяли. Кто там такой был его батя, я его об этом подробно не пытал. Сам расскажет, когда время придет. Знаешь, я не торопил время. Будто чувствовал, что оно потом, скоро, само заторопит меня. Будет толкать в спину, в бока: ну вперед, что вяло шевелишься, ножками перебирай, наддай!

Кино, ведь это было такое нереальное покрывало, и его Антон и его батька накидывали на все хорошее, что втихаря творили. А что всегда творит человечек? Правильно, бать, деньги. Деньги творит! Все завязано на деньгах, и можешь сейчас корчить возмущенные рожи, и махать руками, и квакать: да нет! не все! и не у всех! — мели, Емеля, твоя неделя, не верю, сказал Станиславский, — все и у всех. И кто сумел, тот и съел; а кто не успел, тот опоздал. Так все просто.

<...>

Только не смейся, бать, фильмц Богатов так и не снял: облом вышел, может, с батькой поцапался, может, еще какой казус приключился, не

знаю, а вернее — не помню. Бабки взяли и не вовремя кончились, а новые ниоткуда не приплыли, да на Красное море я с этим башлевым батькой и его бабой все-таки полетел: и поздно мне уже было назад пятками, взяты билеты, Рубикон перейден. Я впервые в жизни, прикинь, летел самолетом. Ощущение — не передать! Я астронавт и вот сейчас на Луне высажусь. Батька Антона и его шлюха всю дорогу до Хургады глушили коньяк. Стюардесса на столике развозила еду и выпивку, и все ели и киляли. Ну, и мы тоже. Я пил скромно, чтобы не наклюкаться. Черт, я же языков не знал! Ни одного чужого языка! Два жалких словца по-английски. Хау ду ю ду, сенкью взри мач. А стюардесса говорила по-ненашему. Я ей только скалился вежливо. И пальцами знаки показывал, как немой немому. Она тоненько смеялась и мне коньяк подливала. Я косился на бабу Антонова папаша. Ничего баба, я заценил.

Бабенка молодая, но, я понял, старше меня. И глядит на меня, как на паршивого щенка. Мол, навязали нам тебя, ну и сиди тихо, не твяклай. Прилетели в эту Хургаду. Пальмы везде. Заселились в лучший отель. Номерочек у меня что надо. Синева вдали меж домами торчит, стеной вздымается. Мне говорят: это море. Яжимаю плечами: эка невидаль! Хотя, когда мы на пляже оказались, я просто рот разевал от изумленья. Вода, и правда, до того прозрачная — все видать: и рыбок, и водоросли, и цветные камни на дне. Плаваю, я хорошо ведь плавал, это ты меня научил, спасибо, в нашей большой и широкой реке, не побоялся, хотя я эти рассказы о том, как брат мой утонул, все свое детство слышал. И они мне, честно, надоели, как горькая редька. Ну вот вместо него я бы утонул. И что? И вы бы с матерью так же обо мне — другому сыну рассказывали. Живому. А какая, хрен, разница.

Так вот, шлюшка эта. Плыву и думаю: хороша, у старшего Богатова есть вкус! А она тут, поблизости, плывет. Руками взмахивает. Не так чтобы очень близко, но я ее вижу, и она меня видит. И вдруг я ее видеть перестал. А вокруг визги страшные поднялись. Люди плывут, барахтаются, руками по воде колотят и так визжат, что уши закладывает! И все ринулись к берегу! Дружно поплыли! И вот, да, ее вижу, шлюшку эту, башку ее завитую, у ней волосы такие были пышные,

золотистые, натуральная блондинка, вымирающий вид! И так гребет, задыхается! Надрывается! Я ничего не понимаю и тоже со всеми к берегу шпарю, и тут понял: акула, черт! Акула!

Бать, я увидел ее всю, рыбину эту. Сначала тень ее, сквозь воду прозрачную, на песке, на дне. Потом — ее. Страшная, дрянь. И большая. Длинная. Длинная эта смерть и долгая: пока тебя раскусит, пока от тебя не откромсает руку, ногу, ты в море кровью обольешься, соленой водой захлебнешься, а все будешь плыть. И жить. Расстрел, слушай, гораздо лучше. Пулю в затылок — и ваши не пляшут. А тут все блажат и плывут. От смерти уплывают. Кому повезет? Знаешь, ноги этой красотки — под водой — вижу! Как она ими истерично бьет, перебирает! Плывет, а акула, гадина, все равно быстрее! Не обгонишь!

И тут вдруг вода — красным окрасилась! Черт! Лицо над водой красоткино — вижу. Побелело оно. Я все понял. Под нее поднырнул и так стал нарезать к берегу, что в глазах потемнело. А тут катер. Береговая охрана. И отрезал нас от акулы. Они стрелять в рыбину стали, с катера. А я на себе красоточку ташу и понимаю: сознание потеряла. Мне не поглядеть, какая рана, смертельная или выживет баба. Мне главное до берега добраться. Ну вот песок. Я бабенку на руки — и с ней на берег выхожу. А по мне ее кровь течет. И я гляжу: рука прокушена. И прокушена страшно. Мясо аж вывернуто. Подковки зубов отпечатались. Короче, руке конец. А может, еще не конец! Швы наложить... в больницу, хирурга хорошего! У папика же денег куры не клюют! Кровь на песок течет. Машина подъезжает, прямо по песку. Я к машине бегу, весь в кровище. И папик тут, морда белая. «Я любые деньги!.. Любые деньги...» И по-английски дальше. Люди вокруг кричат и плачут. Мы в машину впихнулись, шофер гнал как полоумный. Больница кафелем дышит неземным. Чистота такая, что сам себе кажешься куском дерьма. Я по коридору бегу с красоткой на руках в операционную, на стол ее кладу. На меня руками машут: брысь, брысь! Я ухожу. В коридоре сидим. Папик стонет, будто это его акула укусила. Я обозлился и говорю ему сквозь зубы: вы потише стоните, раны зашьют, если заражения крови не будет, через неделю в море купаться разрешат! Он тара-

щился на меня круглыми совиными глазами. В его глазах гуляла ненависть.

Бать, человек человеку волк, давно доказано. Тут и спорить не надо. Ни к чему. Выкатили к нам бабенку на тележке, укрытую простыней. Она в сознании. И будто еще красивей стала. Щеки впалые, губы огнем горят. Шепчет: я ничего, я нормально, а вы тут как? «Мы... — процедил папик. — Мы переживаем». И тут я сам не знаю, что со мной сделалось. Я захохотал. В полный голос. И ляпнул сквозь смех: «Это он переживает, он, он, — и пальцем в папика тычу, — а я вот несколько не переживаю, нисколечки!» И дальше ржу. Ко мне врач подгребает. Меня за руку хватает, пытается увести прочь от тележки. Красотка слабо вскрикивает, рука забинтованная поверх простыней бревном лежит: «Простите его, у него чисто нервное!» Папик шипит: «Говори по-английски, дура!» А мне в зубы тычут мензурку вонючую. Я выпиваю. И море по колено.

Так начался наш южный отдых, вот так отдохнули, и так началась, бать, моя жизнь, о которой я лишь мечтал. Обедали в лучших ресторанах. За обедом эта шлюшка пила обезболивающее горстями. Бледнела и смеялась. Слабым вином запивала. На пляже наша красотка сидела под огромным белым, как снежный холм, зонтом с кружевами, папик ей купил в лучшей барахольной лавке, смотрела, как мы купаемся, и махала нам здоровой рукой. Раз в сутки я возил ее на перевязки. Папик смотрел в отеле телевизор. Красотка под конец отдыха захотела шикануть. В Хургаду тогда прибыли король Саудовской Аравии Фахд и наследный принц Абдалла. Мне-то что в лоб, что по лбу. А вот красотка заявляет папику: хочу на прием! Папик вытаращился: ты что, умом тронулась?! С перевязанной-то лапой! А она смеется. Смелая бабенка была, однако. Все равно пойду, режет ему как бритвой, и не запретишь.

И таки нарядилась, пошла. Мне кричит с порога: этот старикан не хочет со мной идти, так ты пойдешь! У меня ни смокинга, ничего. Она подмигивает: смокинг по дороге купим, в любом бутике, будешь выглядеть зашибенно! Когда она из номера вышла, одетая, я аж присвистнул. Обалденно она была хороша, бать, а может, я просто в жизни своей таких баб еще не видал, ну

вот и пялился на нее, как на алмаз «Шах». Черное платье с золотой ниткой, туфли лаковые, черные, в пол-лица глаза блестят, грудь наполовину голая, на груди не камни — звезды с неба горят. И в ушах, и на пальцах. Это ей здесь, в Хургаде, папик золото и брильянты накупил. Прельстили меня эти побрякушки. Как ребенка прельстили! Бать, но я же ведь и был еще ребенок! Плохой ребенок, невоспитанный, жалкий, и красивым камешком меня можно было запросто опьянить, сбить с панталыку!

Я не оправдываюсь. Это я сам себя так уговариваю. Сам себе песню пою, колыбельную. На самом деле, бать, я родился вором и вырос в вора, и никуда мне было не удрать от воровской своей судьбы.

Она мне сама купила смокинг. Я первый примерил в бутике, он впору оказался. Мы в машину юркнули, у палат таких остановились, что вверх, на фасад, глянешь — башка в танце закружится, и из круженья того не вынырнешь. Поднимаюсь по мраморной лестнице и думаю: черт, здесь такие акулы водятся, не спасись! Сам кошусь на ее забинтованную руку. Красотка вне себя от радости. Вся аж светится. А ну-ка, среди таких хищников золотая русская рыбка плывет. Я тогда не понимал, где мы, кто мы. А все стали на нас глядеть и нас обсуждать. Гул поднялся. Все смотрели на замотанную бинтами толстую руку красотки.

Как ее звали, спрашиваешь? Эх, да как звали... Поминай как звали — вот как. Катя ее звали, Катька. Катерина, разрисована картина.

Ее, с этой прокушенной и забинтованной рукой, то и дело приглашали: то на танец, если музыка играла, то потрепаться, важные такие господа, я старался на них тоже этак независимо смотреть, а то и сверху вниз, ну, значит, таким же, как они, прикидывался. Не думаю, чтобы это у меня отлично получалось. Я видел, как губы моей красотки изгибаются смешливо. Она все понимала, что творится со мной. Но меня одного она бросила плыть в этом людском море. И косилась: выплыву? не выплыву? Я молился про себя: эй, прием, ну ты уж закончись когда-нибудь! И да, прием этот закончился, и моя красотка, с перевязанной этой рукой, акулой прогрызенной, блистала там будь здоров и имела успех. Я сам видел, как к ней подходит этот, как

его, ну, нефтяной король. Или он настоящий король? Я понимал, что он король, все перед ним склонялись в поклонах. И рожка у него была такая царственная. Белым платком обмотанная. А сам старец старцем. Песок сыплется. Так вот, моя красоточка подвалила к нему и улыбается ему, и — о ужас! — сама за руку его берет. А он другой рукой ее нежную ручку — цап-царап! — и морду старую свою к ней приближает, и что-то ей тихое бормочет. Что-то личное, думаю. Думаю так, он переспать ей предлагал. А она закинула кудрявую золотую голову и захохотала. Смеялась она уж очень хорошо. Светло. Будто разом куча рыболовных колокольчиков зазвенела. Король ее рукой по руке гладит. Собой прельщает. Вернее, миллионами своими. Я гляжу внимательно. Ключет? не ключет? И все дыхание затаили. Весь зал. И, вижу, красотка согласно голову склоняет. А это все на камеры снимают, как старый король, у него же сто жен, наверняка гарем, перед русской шлюшкой ковром расстилается. Жены, плачьте! Точно, они обо всем сговорились. К бабке не ходи. Я сам видел. И чувал. У меня всегда было хорошее чутье. Как у волка.

Ночь Хургады, теплая, безумная ночь. Мы в машину садимся, во взятую напрокат. И вдруг красотка моя, слышу, не наше название отеля шоферу называет: другое. Я сижу с ней на заднем сиденье. Ее в палантин газовый заботливо укутываю. Изображаю из себя такого наивняка. А сам дрожу уже, как зверь. Спрашиваю: ты что это, куда тебя несет? А она мне: туда же, куда и тебя. И сама мне на шею бросается. И я целую ее, и будто бы я залпом бутылку коньяка выпил и не охнул. Такой сразу пьяный от нее стал. У меня же, бать, вообще никого не было в Москве, и даже на ту бедняжку, полосатую эмо, я не напрыгнул, не польстился: жалел, да и не вставало у меня на нее. А тут! Прикинь: прием у короля, акула руку прокусила, красота неопишная у бабы из рожки так в мир и хлещет, неостановимо, и что, мне стоять и ждать? Или, хуже того, ее в темной душной машине — отталкивать? И прикидываться импотентом?

Она раздвинула ноги под платьем. Я запустил руку под черную, с золотом, жесткую парчовую юбку. Она льнет ко мне. Шофер все понимает и гонит быстрее, и подхихикивает. Подъехали. Не помню, как она брала на

ресепшене ключ. Как расплачивалась: должно быть, дорого. Мусульманская страна, строгие нравы. Не помню, как поднимались в лифте. Камень и железо плыли под ногами. Я снова плыл в море, и вокруг плыли акулы и скалили зубы. Треугольные пасти сверкали на потолке и на паркете. Мы рухнули на кровать, и, кажется, я порвал на ней это жесткое парчовое платье, с парчовой золотой розой у края декольте. Так озверел. Но мне хотелось докопаться до нее как можно скорее. Я спятил от жадности, я слюной исходил и спермой. Боялся только одного: кончить раньше, чем войду в нее. Тогда стыда не оберешься.

Батя... У меня таких баб, как Катька, больше никогда не было. Всякие были, а вот таких не было. Первая и последняя. Но я не жалею. А о чем жалеть? И кого винить? Мы друг на друга в ночной тьме смотрим, и глаза у нее в темноте блестят, как у рыси, а на груди у нее и в ушах, и на пальчиках — все эти ее алмазные бирюльки, и я вежливо предлагаю ей как рыцарь: давай сниму с тебя все это добро. Она хохочет. Я тоже хохочу. Мы оба стаскиваем с нее алмазы. Я говорю: надо куда-нибудь в укромное место сложить, а то утром будем дрыхнуть без задних пяток, а горничная придет убираться. И стащит! Она опять смеется. Засунь, говорит, в наволочку. Я наволочку с подушки сдираю — и туда. И потом опять обнимаю ее, и у меня опять встает. А она и рада. Мы оба рады, счастливы, безумцы. Батя! Ты когда-нибудь был безумцем? Или так, скучно и прилично, гладенько прожил свою жизньшку?! Ах ты, жаль мне тебя. Значит, ты не знаешь, что такое жить. А я, я знаю.

Поэтому, батя, мне не страшно умирать.

И вот она уснула, а я не мог уснуть. Она уснула, а я украл у нее все ее сокровища. Алмазы пустынь, золото шейхов. Всю восточную сказку слямзил. Встал тихонько, осторожно, оделся беззвучно. Крепко увязал наволочку. Драгоценности слегка брякали. Я зажал наволочку в руках. Пожалел, что у меня с собой не было никакого оружия: ни пистолета, ни ножа. Все-таки чужой ночной город и чужая страна. Билет мой на самолет был со мной. Мы улета-ли утром. Я изловил машину, примчался в аэропорт, живенько поменял билет на более ранний рейс. Сумку купил. И две шкатулки.

Сокровища из наволочки в шкатулки вытряхнул. На черном бархате они сияли, как моя бедная жизнь. Век бы любовался. Девушка на досмотре ахнула. Вертела в руках колье, кольца, длинные серьги — Катьке они до плеч доходили, золотыми ольховыми сережками свисали. Я понял: от меня хотят объяснений, что это и кому предназначено. Я на пальцах показал: готов заполнить декларацию! По-русски внятно, как учитель детям в школе, чеканил: «Э-то я ку-пил у вас сво-ей же-не! В по!.. Да!.. Рок!» Долго писал на россыпи бумажек буквы, цифры и даты. Мне подсказывали, что писать: на ломаном русском смуглый, как головешка, таможенник. Почему они не поняли, что я это украл? Не хотели в это верить?

Человек видит то, что хочет видеть. И верит в то, во что хочет верить.

Ну купил я это золотишко, купил, ну отстаньте вы все от меня. Какие же вы все гадкие! Все вы хотите уличить меня в чем-то. Я всю жизнь крал, а меня всю жизнь хотели уличить. Поймать за руку. И ловили, батя! Еще как ловили! Да я вырывался. А тогда, в Египте, не поймали; благополучно я прилетел в Москву, домчался до особняка папика, быстренько набил чемодан всяким добром, на улицу вывалился, шестеренки под черепом крутятся: теперь куда? на кудыкину гору? Отвык я уж за это короткое богатое время от нищей кудыкиной горы. Какой ты нищий, присвистнул я, ты же теперь богатый! Продал я Катькины египетские бирюльки крутому ювелиру. Ювелир на меня внимательно поглядел, все сразу понял, бестия, что я вор, не мои это сверкальцы, и ляпнул мне: ты, парень, хочешь, к лошадям приставлю? Я воззрился на старика: к каким еще лошадям? Он смеется, челюсти беззубые кажет, на голове шапчонка такая, умора, черная, бархатная. А в скрюченных пальцах лупа. «К таким, — отвечает, — к самым что ни на есть настоящим, в конюшню!» Вот так вышло: приплелся сбывать рыжье³, а угодил под конские хвосты. Кульбиты делает судьба! Да я сообразил: лошади, богач, я снова буду при кормушке, да забавно это все, на лошади хоть скакать научусь, все польза. Я ювелиру кивнул, он мне кучу денег

³ Рыжье (*жарг.*) — золото.

отсчитал, просто хренову тучу, у меня с собой никакого кейса не было, чтобы все это туда скласть, и старикан мне преподнес мешок. Ну да, что смотришь так, простой мешок, из грубой холстины, такой грубой — ладони обрежешь. Я туда купюры стряхнул и натужно, дико засмеялся. Смех из меня порциями выходил.

Ювелир тот на рваной бумажке мне телефончик начертил. Звони, говорит, не ошибешься, я тебе добра желаю. Мой дружок закадычный, гонорова шляхта, богач полоумный, на лошадаках спятил!

Лошади, их запах. Навозец, конюшня просторная! Богач дельный оказался. Умный дядька, любо-дорого с таким поговорить. На дворе мороз, колотун, а в конюшне тепло, как в парилке. Лошади весело хвостами машут. Еда у них самолучшая, круче людской. Меня поставили начальником над подсобными рабочими: вроде как бригадиром. Конским генералом. Я раздавал команды. Чистили, кормили, выгуливали — другие. Спаривали — другие. Я только наблюдал и приказывал. Для этого мне надо было вникнуть в суть дела, я и вник. Вникал я во все быстро. А еще в то, что хозяин мой — последний недотепа и справиться с ним будет проще пареной репы.

Лошади, лошади! Я скоро всех их знал по кличкам. Бать, лошади, они умнее, лучше и чище, чем люди. Они не оскорбят, не раздавят. Они тебя за руку не схватят, когда ты крадешь. Им это по хрену. Они животные, от слова «жить». Милые! Морды длинные, хвосты шелковые. Машут ими, трясут. Кожа бархатная. Глаже, чем у той красотки, шлюхи Катьки. Я, прежде чем в дом пойти и лечь спать, каждую в конюшне обойду, каждую по морде поглажу. Они ласково ржут. Приветствуют меня. Нет, точно, звери выше людей. Они не знают нашей ненависти. У них зло свое, и ненависть своя: да, они готовы убить соперника, но в честной борьбе. А мы? Я шел в дом, посреди полей стоял он, так я опять оказался близко от земли, я вдыхал ее запахи, и лошади мои выбегали на землю живую и резво скакали по ней, — и все-таки я ее уже не чуял, как чуяли мои кони. Я не мог разделить их веселого ржанья. Хотя с радостью заржал бы вместе с ними. Однажды оседлал вороного жеребца, гладкого, аж лоснился весь, какой откормленный, и долго на нем носился по чер-

ным полям. Стояла ранняя осень. Тоскливо мне было среди этих беспросветных полей. И навоз я устал нюхать. Хотя счет мой изрядно пополнялся. Богач мой щедрым был. Поляк, сам охотник, и из семьи охотников, и сам вдобавок знаменитый оружейник, сам выделявал охотничьи ружья и дорого продавал — ну такой охотничий Церетели, не иначе. Ружья с завитушками, с медными нашлепками, и одностволки, и двустволки, и даже берданки, тянуло его на ретро, он мне показывал ружьишки — я любовался, языком щелкал. Лысенький, высоченный, как Петр Первый, ножки длинные-тонкие, качается, будто бы подвыпил, глазки прозрачные, ледяные, на тебя глянет — полярным холодом обдаст; и зубы как у лошади, длинные, желтые, крупные. Трубку курил вишневого дерева. Дымок вечно над его лысиной вился. Собак держал: русских борзых. Ох и изящные! Грации полные штаны! Собаки по полю бегут, в струнку вытянутся, длинные мордочки свои по ветру вытянут, запахи земли жадно нюхают, а хозяин стоит, глядит на них из-под руки, шапку-конфедератку на затылок сдвинул, трубку сосет. Господин Высоковский, ексель-моксель. Тогда все в стране, помнишь, от товарищей плавно переходили к господам, да рот не мог привыкнуть. Сам себе господин! Я — владыка! Эх, да что ты говоришь! Врешь и сам себе не веришь! Я на ружья эти узорчатые косился, а сам думал: эх, стащить бы одно, самое красивое, и деру. Да, и тогда я уже подбирался к чужому добру! И уже задумывал побег! Меня прямо трясло от возбуждения, когда я помышлял об этом. О том, как с ружьем пана Высоковского по осенним полям иду, ну вроде как охотиться, только без лошади и без собаки, вообще без ничего, и, если мне уж до конца повезет, то со стащенным у поляка бумажником за пазухой. В те поры наличные деньжата были больше в ходу; это сейчас у всех в зубах карты, карты. А тогда бумаги еще шуршали. И у моего хозяина их водилось так много, что он запросто мог на черную пашню выбредать и сеять их в землю: по ветру. И проросли бы.

Деньги! Бать, вот ты задумывался когда-нибудь, что они такое? Что это за игрушки такие человеческие? Деньги, что это за чертовня? Вор понимает. Бать, вор — все понимает! Но, как та охотничья собачка пана Высоковского, остро-

мордая и курчавая, твякнуть не может: объяснить. Вот и я все понимал. И теперь понимаю. Деньги, бать, это мы сами. Деньги украсть — это все равно что у человека жизнь украсть. Все деньгами измеряется. Дома, деревья, лошади, судьбы. Думаешь, я пошлый такой? Что, сидишь глядишь на меня, зыришь и думаешь, что вот я всю жизнь только и думал о деньгах?! Врешь, бать. Не только о них. Но я твердо и отлично усвоил: за тебя заплатят ровно столько, сколько ты стоишь. И ни копейки больше. Даже если ты задумаешь покупателя обмануть. Не выйдет! На роже у тебя висит твой ценник. И цифры эти текут в твоей крови.

Правда, знаешь, были моменты, когда я уговаривал себя, ну, как девушку уговаривают пойти с тобой в постель: ты, ну брось кобениться, брось выдумывать, на себя наговаривать, ты же прекрасно знаешь, есть высшие драгоценности, есть сокровища круче, чем счета в банках, а что это за сокровища, а погляди-ка, а догадайся, недогадливый, разве красота не сокровище? разве поцелуй не сокровище? разве ребенок, твой ребенок, долгожданный, не сокровище? разве, черт дери, мир на твоей земле, когда снаряды не рвутся, когда не рвутся бомбы в метро или на стадионах, — мир блаженный, счастливый, — не сокровище?! Да пусть в этом мире нищие по улицам шастают! И бомжи на вокзалах дрыхнут! Пусть люди в этом мире друг друга подсиживают, обманывают, вцепляются друг другу в хари, ласкают и милуют друг дружку, да хоть на голове стоят, да хоть костры на Красной площади жгут, — а все равно это все мир, не война! И все они — не погибают! Ах, ха-ха, а своею смертью — помрут. Что уже хорошо, не правда ли?

Так я уговаривал себя, внушал себе праведные и чистые, благородные мысли, а дьяволенок, что жил во мне, крепко он во мне поселился, глубоко внутри, всеми когтями вцепился, мне нашептывал поганенько: вот, гляди, внимательней гляди, девушка красивая, и глядит так мило, так сердечно, ну сразу видать, душа-человек, — а на деле ей за гадость хорошо приплатили, щедро, и она сделала эту гадость, совершила и не охнула! Гляди, вот дядька представительный, грудь выпятил, орет с трибуны о благе и силе, о развитии и мощи, — а дядьке-то классно заплатили, чтобы он все эти лозунги — прилюдно орал! Чего

человек не сделает ради денег! Да все сделает!

А потом наступал вечер. И я оставался один. В новой квартирешке, я снял ее за гроши около дальней станции метро, в бедном квартале, домишки такие, нищета на нищете сидит и нищетой погоняет, с новым, между прочим, паспортом за пазухой, и на чужое имя, мне совсем не улыбалось, чтобы меня взяли и цапнули. И — в каталажку. Все, закончилось кино. И вино, и домино, и богатые попойки, и рысистые лошадки. А ружьишко-то я так и не стащил у пана Высоковского. Так и не стащил. Жалею. А что жалеть. Я бы все равно не смог его с собой по жизни своей таскать.

Ружьишко не спер, зато бумажник спер. Мне пан Высоковский спел однажды старую песенку, времен его детства, должно быть: «Пока смотрел «Багдадский вор», самарский вор бумажник спер!» Хохотал, кофе попивал, я тоже кофе из золоченой чашечки отхлебывал, косился на новое ружье, мастером сработанное: оно лежало на кровати, поверх китайского шелкового покрывала, с крупным, как цветок, медным завитком на цевье. Я частушку ту воспринял как руководство к действию. Старый пан поперся спать. У него была жена, да померла; он мне в альбоме ее фотографии показывал. Когда-то красавицей кокетничала, по слухам, отменной портнихой была: пол-Москвы баб к ней ездило наряды заказывать. Всему бывает конец. Я сидел и допивал кофе. Пан в соседней спальне захрапел. Он доверял мне. Я не знаю почему, но люди с ходу доверяли мне. Я быстро втирался в доверие. Это тоже дар. Не каждому дано. Дверь в спальню пан не запер. Я осторожно вошел, под музыку этого длинного храпа подкрался к стулу, на спинке висел пиджак. Просто — пиджак! Без всякого там сейфа! Дурак ты, хозяин. Не так надо жить. Я вытащил из кармана бумажник, пробрался к себе в каморку, вскинул сумку на плечо. На первой попутке удрал. Ночью очутился в Москве, и это была чёртова ночь.

Вот так ночь! Всем ночам ночь! Я и не думал, что в Москве такое может быть. Выстрелы. Прохожие бегут. Головы руками закрывают, приседают. Вопят: «Снайперы! Снайперы! На высотках!» Грузовики по дорогам тряслись. Откуда-то издали надвигался ужасающий гул: это шли танки, я понял. Танки в центре столицы!

И вот уже на улицах костры горят. Я так мечтал о живом огне, и вот он явился. Люди бежали, и я поддался общему безумию, я тоже побежал. Бегу, задыхаюсь. Куда бегу, не знаю. Вдруг в ночи передо мной — дом. Я его не узнал! С виду как мощные белые софы. И горит. Черный дым из него валит, и белая стена уж вся почернела. И вот они, железные могучие коробки, прямо на меня прут, нет, на всех людей, что толпятся, бестолково грудятся, качаются и отскакивают, и снова напирают, не знают, куда бежать, а все равно бегут! И я, батя, вижу, как прямо передо мной падает мужик, ему грудь пробило, и еще второй падает, асфальт ногтями царапает, а я-то прямо за ними бегу! Гул нарастает. Танки за нами. Я внутри варева, ну и месиво заварилось! Не выберусь. Страшно завопила женщина. Схватила ребенка за руку, тащит, а он ноги подогнул, и она его по земле волочет. Как куклу тряпичную. А тут рассвет. Тусклый, серый. И все видать стало. Все лица, пушки танков, всех убитых. По асфальту дорожки темной крови. Я впервые видел бойню. Считаю, что видел войну. Любое убийство — война. Потом замазывай не замазывай содеянное. Человечишко так устроен, что ему лишь бы себя оправдать. Бьет себя в грудь кулаком и кричит: я хороший! я хороший! Часто он кричит это сам себе. А громко орет, как глухой. И что думаешь? Он себя в этом убеждает. Что он хороший и даже, черт, святой. Если самому себе все время твердить: я святой, я святой, я святой, — поневоле святым станешь.

А каково это, батя, когда свои — своих бьют? Сидел ты тут, в нашем городе на реке, вдалеке от Москвы, и ничего этого не видал, не слышал, а тебе о бойне этой даже в газетах не рассказали: властям не нужна правда. Правда всегда вывалится наружу, да лишь по прошествии времени. После драки вдруг замашут кулаками. И закричат: вот правда, правда! А какая она, эта правда? Какие деньги заплатили властям, чтобы они свой народ расстреляли? Какие деньги заплатили танкистам, снайперам? Снайперы метко били. Винтовочки с оптическим прицелом, новейших марок. Пан Высоковский такими бы гордился. Кто его знает, пана, может, он и оптикой занимался. Сбили его оптику! Сбили мою! Сбился прицел. Куда бежим, черт, а?!

Чьи-то руки меня, чую, тащат. Так, сообра-

жаю, значит, это я упал. Значит, тоже подстрелили! Но, черт, почему же не больно нигде?! К себе прислушиваюсь. А меня по асфальту тащат. Штаны мне обдирают. И кожу на локтях и на икрах — до крови. А вокруг свист. Это пули. А потом: бабах! Это снаряд рвется. И я смутно думаю: сейчас в меня шарахнет. И, знаешь, никакого страха нет, ну, что вот сейчас сдохнешь. Да сдыхай на здоровье, примерно так о себе любимом думаешь. Я не вру, нет. Я слишком много в жизни врал. Перед смертью врать нельзя. Не ты жизнь себе подарил, не ты ее у себя должен отнять. Дать — отнять! Я бы этим, кто у орудий и кто, скрюченный, на шпилях высоток сидит, так и крикнул, завопил прямо в уши, и чтобы у них барабанные перепонки полопались: не ты дал! Зачем отнимаешь?!

Бесполезны все эти крики, батя. Честно, бесполезны. Один я, что ли, так захотел покричать? Да сто тыщ, мильён народу. А толку. Вот заложили меня внутрь железного пирога живой начинкой, внутрь пушки снарядом заложили, и сейчас как рванет, глаза повылазят, костей не соберешь. И начинка из пирога наземь поплывет, красная. Соленая, не сладкая. Те, кто так близко видал смерть и глубоко вдохнул ее, затянулся ею, как сигаретой, те уже не боятся, черт, никаких злых мест.

И я не боялся.

Меня по асфальту, под выстрелами и разрывами, протащили, в подъезд втащили, по лестнице на верхний этаж втащили. В комнате, огромной, как корабль, сильно накурено. Хоть топор вешай. Мужик ко мне подходит. Ножницами на мне куртку, рубаху разрезает. И отдирает от меня прилипшие лоскуты. Я кричу от боли. Это меня подранили, и ткань к ране присохла. Мужик поливает меня водкой, прямо из бутылки. Ватой промакивает. Цыкнул на меня: «Хватит хныкать!» Я замолк. Он нож водкой полил, потом ею же полил, черт, не поверишь, обычные плоскогубцы. Говорит мне: ну, молись! Подбородок небритый. Щеки синие. Зубы под губами поблескивают: один живой, один серебряный, потом дырка, потом опять железный, потом снова живой, желтый. Вот так доктор! Всем докторам доктор! Сейчас меня резать будет! Как барана!

Я набрал в грудь воздуху. Пока вдыхал, мужик

меня и полоснул ножом. Распахал рану, как плугом. Запустил в нее плоскогубцы, через мгновение пулю вытащил и у меня под носом ею повертел, и кровь с пули капнула мне на губы и по подбородку ползла. Вот, смеется, лучше меня хирурга в Москве вашей чертовой нет! А потом пулю как швырнет. Она полетела в стену и врезалась в батарею. И зазвенела. Я лежу, слезы по щекам текут, я и сам как пьяный, а мужик этот небритый горлышко бутылки мне ко рту подносит и в зубы сует: на, на, не робей, глотни! Сейчас водярой рану твою глупую залью, и перевяжем!

Он так и сделал. Я потом с ним сдружился, с Хирургом. Понял я, куда угодил. Малины, хазы, притоны, катраны, стрелки забить, отхватить, оборваться. Научился я говорить по-ихнему. Нехитрое дело. Любили меня мои бандиты, и я их любил. А что? Они же люди.

Я ползал по дну Москвы. Ночлеги случайные. Хаты съемные. А назавтра гонят: облава. Залы с лепниной. Люстры алмазные, величиной с целое озеро. Бедняцкие малины. Все я видывал, через все проходил. Бать, я был чистой воды проходимец, и я этим даже гордился: вот я какой тип, увертливей ужа, в огне не горю, в воде не тону. Талант жить! Не всякому он дан. Это как один может стать музыкантом, ну, просто виртуозом, а другому хоть кол на голове теши, — не сможет. Медведь на ухо наступил? Люди, люди на уши наступили. И сапогами всю ряшку в кисель расквасили. Люди не терпят рядом с собой того, кто лучше, круче, сильнее. Это зависть, бать. Простая, как спички или мыло, зависть. Спички, сахар, соль и мыло, это было, было, было! И зависть была. Всегда. И никуда ее человек от себя не прогонит, как собаку. Сидеть, зависть! Тубо! Пиль! Так пан Высоковский своих борзых дрессировал. Ну, дескать, нельзя, а потом можно. Если нельзя, но очень хочется, значит, можно. Вот и я себе говорил: нельзя красть, плохо, грешно, все это осуждают, гадко это, пошло, рвотно, отвратно, — но уж очень хотелось мне присвоить чужое, такое, что играло и сверкало; или что обозначало крутую власть; или красоту необыкновенную; или вообще чужую жизнь взять да и сделать своей, — ну это высший пилотаж, и до этого, бать, мы еще дойдем, я и это в результате сумел. Хмели-сунели! Съели-сумели! А ты пройдоху-жизнь возьми и с собою зарифмуй! Как эти

прощельги-поэтишки, что, завывая, тогда по всей Москве, во всех кафешках, куда ни забеги перекусить, читали свои никому не нужные стишата! Я никогда не любил поэзию и не запоминал слова. Люди плюют слова на землю, и они шуршат у них под ногами, это все мусор, ты сказал слово, а через миг оно уже мертво, и ты его окурком под сапогом давишь, давишь. Зайдешь в грузинский рестораник на Никитских воротах попить настоящего саперави, там настоящее было саперави, такое густое, лиловое, аж синее, как сладкая грязь, в бутылках, оплетенных сухой лозой, все по делу, и рестораник, старый Заури, нашептывал мне: вах, слушай, друг, вино чудное, выдер-жива-ли в наста-ящих гли-няных кевври. Кевври, бать, это такой глиняный кувшин, порой бывает в рост человека величиной, забоишься, и его наполняют виноградными гроздьями и закапывают в землю. Ты понял? Нет, ты понял? Что виноград надо похоронить, чтобы получить вино? А нас? Нас что, надо тоже сначала похоронить, а потом только мы станем вкусные, сладкие, чистенькие, душистенькие, святенькие, светленькие, безгрешненькие?! Разве не так?!

Не так... говоришь, не так... А по-моему, так. Сначала тебя закопают, а потом закричат: он велик! он прекрасен! круче его нет! почести ему! слава ему! слава! И запрыгают вокруг твоего гроба. А тебе-то что? А ничего. Лежишь себе в деревянном бушлате и ничего не чувствуешь. И по хрену тебе все: и вопли, и сопли. Что ты видал в жизни? Да лихость одну. А свободу — в кредит и в рассрочку. Порциями скудными, ломтиками тебе ее отпускали. Да кричали из-за прилавка: дорогого стоит! А вот вам всем. А украду я вашу дорогую свободу! Вору чем лучше? Тем, что он не связан ничем по рукам и ногам. Вор сам себе Наполеон, сам себе Гитлер, Сталин и Пиночет. А захочет — будет добрым барином. А захочет — станет милосердным самарянином! И какого-нибудь важного индюка от смерти спасет. Индюк захочет вора наградить, а вор только ухмыльнется: а зачем мне твои алмазы? Рубины, сапфиры твои? Счета твои немеренные? У меня есть более драгоценные вещи. Снега! Ветра! Поцелуй в подворотне! Попойка дружеская! Река подо льдом, и солнце лед ломает, и дыбом он встает! Воля у меня есть,

индюк, воля! Я где хотел — там денег и добыл! А ты кричишь на них, горбом их зарабатываешь! И горб уже больше тебя стал! Для горба тебе отдельный гроб сколотить надо!

<...>

...Вот тут она вся и началась великая полома, с мафика этого гололобого, с Сухостоева. Предложил он поразвлечься. Я клюнул. Я тогда вообще на все клевал. Я мир через эту рыбалку открывал. Лысый Сухостоев внушал мне: через женщин делаются все великие дела, запомни! Им власть дана такая, какая нам и не снилась! Я не верил в это и втихомолку хохотал над этим. Власть — кровное дело мужчин, кто ж спорит. Тут и спорить нечего. А Сухостоев знай валит свое: бабы — это цветник! Научись сначала полевые цветочки рвать! А потом можешь и тюльпаны выкапывать с луковицами, и царские лилии! Упражняться надо. Практика — великая вещь. Практикуйся! Практикуйся!

И мы двинули практиковаться. Когда в дверь позвонили, лысый шепнул мне: «Шалавы тоже разные бывают, бывают из-под моста, а бывают из-под тени трона». Мы что, на кремлевский раут шпарим, оборвал я лысого невежливо, и тут замок затарахтел, и мы, как были, в дубленках и мохнатых шапках, воротники в снегу, ввалились в квартирешку, и помню, сильно пахло пачулями. Девушки расхаживали в черных кофтах, но без юбок, в одних сетчатых черных колготках, в туфлях на высоченных каблуках. Одна цокала каблуками по паркету, ногу подвернула, заорала от боли, стала на бок валиться, я ее поймал. Держу ее под мышки, полуголую, и пачулями все сильнее пахнет. Это от нее, значит. Я не помню, что я ей говорил. Что она мне отвечала. Помню, как улыбалась. Улыбалась очень хорошо. Светлые такие зубки, белые. Выбеленные, наверное. Такие великолепные. Будто царица идет по залу в короне, улыбается подданным, и все перед ней приседают. Перед моей путаной никто не приседал. Хозяйка вошла в комнату, где мы сидели, воззрилась на нас, одетых, и что-то спросила. По-английски, я понял, будто мяукнула. Моя путана сказала «мяу» ей в ответ, встала и сбросила с себя сначала черную кофту, затем лифчик, затем ловко и быстро стянула колготки. Я мог

оценить ее голую статью. Церемонно поклонился, взял ее ручонку и поцеловал ей кончики пальцев. А потом мы увалились в постель и долго барахтались; не помню, полдня или больше, спали, просыпались и опять танцевали лежа. Лысого я не видел. Может, он уехал раньше, чем я попрощался со своей путанкой. Я заплатил ей много. Очень много. Она мне очень понравилась.

А назавтра я был, и правда, на приеме в Кремле, вот смеялся-смеялся и досмеялся, и вправду в Кремль вперся, и смокинг на мне, и галстук с алмазной булавкой, и влиятельные люди вокруг меня шастают, или это я вокруг них выюсь, что в итоге одно и то же.

И на том приеме случилось два события. Они меня на всю жизнь процарапали когтем.

Первое событие — я познакомился с первым лицом в государстве. Не спрашивай как! Чешут через зал люди, быстро идут, одного обступили, плечами, спинами заслоняют, охраняют, я не вижу, кто там в центре бежит; замешкался; за паркетину носком башмака зацепился да как навернусь! А об меня охранник споткнулся да и тоже упал! Оба лежим на паркете. Впору смеяться во всю пасть! А мы шепотом материмся, сквозь зубы. Толпичка эта почтительно расступается. Ко мне подходит скромный такой человек, голову наклоняет, как гусар, и четко говорит: «Извините! Простите великодушно, если что не так!» Я вскидываю на него глаза и соображаю, кто это.

Ну что, что дальше? А дальше ничего. А дальше все уходят. И паркет блестит. И второе событие тут как тут: лысый Сухостоев знакомит меня с такой бабой, что все бабы меркнут перед ней. И Катька египетская? Акулой укушенная? И даже Катька. А что Катька? Ночка одна в отеле. Морское приключение. А тут лысый прямо шипит мне в ухо, как удав: «Не зевай!»

Я и не зевнул. Подкатился по всем правилам. Да так хорошо подкатился, правильно сети расставил, что рыба сразу в них зашла — и запуталась. Рвется! Огромная! Золотая чешуя сверкает! Глазам больно! Я под жабры ее хватаю. Волоку! А куда волоочь? Пусть уж лучше она меня на своем жирном вкусном горбу тащит. Она и потащила! Ордынка, Маросейка! Особняк рядом с отелем «Президент»! Рядышком французское посольство! Ветер, запах дальних стран... знамена

чужие, полотнища... тревога, сердце из-под ребер выпрыгивает, иной жизни хочется, ласковой, богатой, славной, блестящей... А я... я вор. Мне бы чешуйки те золотенькие общипать! И в мешок покласть! Для своих личных нужд! А так мне от этой гладкой белуги больше ничего и не надо! Кроме, может, ее самой... да тоже одну ночку у нее своровать, другую... я не жадный...

А голос какой-то, будто с небес, гундосый, навязчивый, тягучий как смола, залепляет уши, гасит слух: а ты, ты с нею, аппетитной, хорошей жизни поищи! женись! осядь! сядь на дно! сойди на грунт! остановись! пусть лучше у тебя крадут, а ты — не кради! сделайся же ты наконец человеком, как все люди!

Я старательно воображал себя муженьком этой бесподобной кремлевской крали. Что ни день — прием в Кремле! Звоны-трезвоны! Грановитые палаты, Боровицкие ворота! Ножкой, Марк, шаркать научись! Башмаки до блеска начищай! Чтобы, как в зеркало, народ в них гляделся! Краля твоя нарасхват! Все за ней ухаживают, кому не лень! И ее ты муж или уже чужой? А может, она уже не твоя, а чужая жена? Когда хочет, тогда домой приедет. Что хочет, то тебе и наврет! Ах, мужнишка, козявка, ершишка, окунишка! Белуга твоя золотая — по дорогим морям плавает! Корона у ней на башке золотая, и с зубьями, и в каждом — алмаз! А ты?! Кто ты такой перед ней?!

Вот тебе и вся женитьба. Когда лысый Сухостоев, задыхаясь от жира, еле пузо таская, стал мне опять про эту грандиозную грядущую свадьбу мозги пудрить, я его грубо обрезал: кончай меня охмурять, я сам себе царь, и мне цариц не надо подсовывать, я не хочу со своей свободой пока расставаться, что хочу, то и ворочу! Сухостоев затрясся в смехе, он задышался, просто помирал от одышки. Бормотал: «Я ж тебе добра желаю, дурачок ты, дурачок. Больше такого случая не подвалит под бочок». Ну и пусть не подвалит, зло сплюнул я. И закурил, и ссыпал пепел в синее фарфоровое блюдо, а Сухостоев шелкнул по блюду пальцем и раздумчиво сказал: «Гарднер. А в него пепел наглец сыплет». А потом еще сказал: «Ты хоть с ней переспал?» Я затанулся и стал выпускать дым изо рта кольцами. Когда выпустил весь, ответил: «Еще как! И не один раз!»

А через полмесяца я обнаружил у себя язвы. Бать, ну только не спрашивай где! Мы с тобой что, дети малые?!

Язвы, да с виду такие страшные, у меня волосы встали дыбом. Ярко-желтые, с красными ободками. Я не мог на них посмотреть. К врачу погнал. В кабинет входил, ноги подламывались. Осмотр закончился. Врач мрачный сидит. Карандаш в пальцах вертит. Я жду. Ни слова. Я уж все сердцем знаю. Мне уже этот диагноз ни к черту не нужен. Встаю и к двери иду. А мне в спину голос втыкается. Как нож. И называет этот мой диагноз, так отчетливо, почти по слогам, по буквам. Рецепты врач строчит, на уколы меня назначает, речь его гладко льется, много слов изо рта у него вылетает. Я не слышу. Кажется, он меня успокаивает. А мне-то что? Я стою и тупо думаю: жизнь, жизнь, так вот ты какая, стерва, дрянь. А потом думаю: черт, ведь она же, она, ну, краля кремлевская, тоже у себя сейчас эти же язвы увидала. И все, разумеется, поняла. А что тут понимать. Все как на ладони. Новый любовник заразил плохой болезнью блестящую богатую красавицу. А все почему? А потому, что хотел обонять царскую лилию, бать, без намордника!.. Хе, хе...

Батя. Держись за стол, за стул. За стенку, за что хочешь. Впрочем, можешь на пол падать. Падай, я ловить тебя не буду. Ушибись, зашибись. Батя, моя именитая краля наняла киллеров. Ну, чтобы меня убили. Зачем? Ну ты и вопросы задаешь. Ты что, не понимаешь, что я ее поганой хворью заразил? С последствиями на всю жизнь? Враки это все, что ее вылечивают полностью. Люди друг другу в рожи врут и не краснеют. Неизлечимо все. Даже жизнь неизлечима, бать. Эта болезнь нам до смерти. До... смерти...

Наемные убийцы, они, должно быть, прорву денег от заказчиков получают. А интересно, когда им платят? До или после? Заплатила ли им моя кремлевская краля? А, как ее звали? Да что тебя все интересует, как их звали, моих баб? Все женские имена на один манер. Сопливые и слащавые. Я бы хотел их все забыть. И больше никогда не вспоминать. Особенно имена тех баб, кто мне сделал плохо. Не делай мне плохо! И я тебя не трону. А кто мне сделает плохо — тому я хуком... под левое ребро... да без промедленья... не глядя... я могу, я умею...

Киллер... Он стрелял метко. Не сомневаюсь. Убийцы, они же обучены. Они все снайперы. Они издаля в цель попадают. Винтовка Мосина, ха, ха! Или там Драгунова. Или хороший, наилучший пистолет с глушителем. Мой убийца не стал залезать на крышу соседнего дома, чтобы выследить меня в квартире и жакнуть в меня через оконное стекло. Он решил подстеречь меня на улице. Рядом с домом. Я вышел в магазин сигарет купить. И молока. Я очень любил топленое молоко. Еще со времен работы у пана Высоковского в конюшне. Ему из ближней деревни к завтраку в громадной фляге привозили. Уж лучше бы я водки купил!

Вышел из дверей магазина, без шапки, а снег лепит, пальто расстегнуто, шурюсь, из-за густого снега ни черта не вижу, под мышкой батон, две бутылки молока этого топленого, за пазухой блок сигарет — все, нормально затарился. А дома мясо есть, зелень есть, перец есть, конфеты есть, коньяк есть — все, что мужику надобно, есть, да вот только сам мужик ни к черту, негодный стал, с гнильцой, и надо мужику вылезать из этого навоза; ах ты, судьбишка! Подножку мне?! Так я же тебе отплачу! Ну что, мужик, вор ловкий, быстро, быстренько своруй себе здоровье! Иду вперед. Ноги в снегу вязнут, уже хорошо намело. Стихийное бедствие. Провода снегом облеплены, снег с веток свисает. С крыш клоками валится. Машины все под снегом стоят, как белые стога. Жуть! И вдруг среди этого могучего снегопада — вжих! вжих! Две пули просвистели. У меня над ухом. Очень близко от уха. Так близко, что мне показалось: холодный воздух загорелся и обжег мне висок.

Я не знаю, почему я упал на землю. На снег. Чувство сработало. Я никогда не был на войне, не служил в армии, я не знал, как надо себя вести, когда в тебя стреляют; но я вспомнил наш с Адой, полосатой эмо, сумасшедший побег из дома милосердия и то, как мы в машине пригibasались низко-низко, а машина мчалась как угорелая, и водила живого слова не говорил, кроме мата. Стреляют. Надо упасть. И ползти. Я упал и пополз. Снова противный змеиный свист. Звяк! Бутылку пульей разбил! Молоко мое вылилось в снег, топленое. Сигареты грудью примял. Ползу! Стреляют! Стреляют все равно. Дался я чертову стрелку! А в мозгу свербит противненько: его же

наняли, наняли. И это — она: у нее денег куры не клюют, ты для нее уже не жилец, смиришься. Ну куда ты ползешь, тупой дурачила, ведь убийца рядом, он за углом, или он торчит в окне дома, или он крадется за тобой по пятам, это все равно, но сейчас, вот сейчас он прицелится поточнее и врежет. Это просто снегопад, он не может попасть, ему снег мешает, но у него точный глаз, просто ему прицел снегом залепляет, и глаза снегом запорошило, он мокрые брови и нос ладонью вытирает, вот сейчас снова глазом к прицелу припадет, приклеится, он тебя ищет, находит, он тебя видит, он снова целится, он...

Я перекатился на бок, покатился катушкой! Пули взрывали снег возле меня, около моего еще живого бока. Я понимал: мне кранты. Осталось жить две-три секунды. Враки это все, что жизнь, когда ее немного у тебя в запасе, вся мелькает перед тобой, промелькивает кучей бездарных, быстрых кадров. Ничего у тебя перед бешеными глазами не мелькает! Ничегошеньки! Хлеб мой навеки в том сугробе лежать остался. Голуби его расклевали. А то и старуха нищая подобрала. Мой хлеб! Не я его сеял, не я жал и молот. А вот поди ж ты, мой, если купил. Купил — это почти украл. Еще немного — и украл. Кто-то сделал, а ты присвоил. Сейчас этот козел украдет у меня мою жизнь. Мою! А я еще не пожил всласть! И мне так жалко себя стало. И такой злой я стал. На весь мир, на себя. На этого убийцу, что наняла богатая красавица, язвы ее в душу. И никакая жизнь передо мной не разворачивалась веером! Не хотел я даже ее видеть! Потому что она сейчас, вот сейчас должна была оборваться!

И это, бать, меня так разозлило, я рассвирепел просто и покатился колбаской — ты думаешь, куда? — прямо к дороге! К проезжей части! И, не смеясь, выкатился прямо под колеса машин! Я в то время ничего не думал. Только чувствовал. Водилы загудели. Счастье, что поздний вечер. Все машин поменьше, чем днем. Зато едут шустрее. Лучше под колесами сдохнуть, пусть раздавят, ну руку раздавят, ну ногу переедут, но выбегут из тачки, меня подхватят, в больничку отвезут! И верно: один тормознул, на снег выбежал, на меня сперва с кулаками, а потом видит, я бледнее снега, под мышки хватает и тащит, а пули, пули, где же они? Не стреляют. Никто не стреляет! Видно, стрелок затаился и глядел, как

меня шофер к себе в машину заволакивает. Нет! Выстрелил! Еще раз! Думал — попадет! Последняя пуля. Взорвала снег под нашими ногами! Шофер шархнул. Кричит мне: кой бес! откуда палят?! Дальше не помню; открыл глаза уже в машине, и мы несемся, будто ветер нас на себе несет, как резвый коняга пана Высоковского, дворянина и охотника.

Летим, ночной город за стеклами тачки мерцает угрюмо, снег на бульварах с кружевных ветвей тяжело осыпается, а я чувю, в салоне чем-то эдаким пахнет: тем, что я отроду не нюхал, запах такой странный, удивительный. И терпкий, и нежный. И вроде скипидаром несет, и вроде парфюмом. Ну, думаю, парфюм изысканный у мужика. Чем, спрашиваю, у тебя в машине воняет? А он смеется. Это, говорит, не в машине, это от меня воняет! Художник я, брат! В первый раз человек меня братом назвал. Даже внутри екнуло. Едем, шины по асфальту шуршат, снег лепит, лобовое стекло залепляет, а он меня и спрашивает так прямо: что, это за тобой охотились?..

«...за тобой охотились?» Марк неудобно, боком, неуклюже вывернув руку, лежал на заднем сиденье. Разлепил губы и выдавил: «Топленое молоко жалко, вот специально купил, люблю его». Шофер захохотал: «Молоко! Значит, стрелял твой убийца, а попал-то в молоко! В молоко! Промахнулся!»

Марк вежливо вторил ему, смеялся вместе с ним, дуэтом. Оборвал смех: смеяться не мог. Заплакал, выгнулся, будто в судороге. Началась истерика. Художник остановил машину возле большого, в небеса уходящего старинного дома. Открыл заднюю дверцу, вытащил Марка из салона на воздух. Лицо Марка, залитое слезами, в свете фонарей гляделось жалкой набеленной маской кукольного Пьеро. Луна в небесах над Москвой горела как синий фонарь. Художник осторожно взял Марка под локоть и повел. Там у нас лифт, лифт, тихо и нежно говорил он Марку, тебе не придется ножками шаркать, у меня тринадцатый этаж, все хорошо, хорошо.

Говорили отрывисто, скупно. Попутно художник готовил еду и чай. Ты кто? Человек. Да ведь и я тоже человек! Мы оба, так выходит, человеки! Москвич? Нет. Приехал сюда мальчишкой. А

ты? Москвич? Нет. Приехал сюда недавно. Откуда? Пес знает откуда, друг. Из тайги! С реки Лены! Оттуда, где она только начало берет. Гнуса там в тайге — пропасть! А это картины твои? А то чьи же! Мои! Я их из Сибири привез. Вот, друг, прославиться хочу! А что хохочешь? А что, нельзя? Да нет, можно. Что можно — смеяться? или прославиться? И то, и другое. Ха! ха!

Смеялись. Курили. Грызли козинаки. Жгли свечи. Марк жадно глядел на палитру. Там светились, выдавленные щедро, горами, краски. Масло и лак, и позолота, и грубые зерна на исподе холста. Как ты все это добро с Лены — сюда — доведешь? Добрые люди помогли. Свет не без добрых людей. Ты какой любишь, черный или зеленый? У меня и красный есть. Мне все равно, знаешь. А мне нет! я буду зеленый, с лимоном! Слушай, дружок, в тебя стреляли, это плохо. Куда уж хуже! Так я не про то. Ты отсидись тут у меня, да? Поживи немного, да? Ну, у себя не появляйся пока. Пускай время пройдет. Все утрясется. А я тебя не стесню? Да нет, ну что ты. Это же мастерская. Друга моего мастерская. Он за границу укатил. Может, там и останется. Мне вот ключ всучил. Я и рад. А ты — рад? Я... я — не знаю... А что тут знать! Радуйся! Радуйся, я с тобой! И у нас жратва есть! Нехилая! Я сегодня на Арбате холстик продал — и всего накупил: и колбасы копченой, и кофе, и чаю, и курицу, чуть попозже в духовке запеку, и вот даже козинаки! Хочешь курить? Да. Я тоже! Посмолим?

Опять курили.

Марк сподтишка разглядывал своего спасителя. Маленькая лысинка, как тонзура. Брови седые, серебрятся, кусты ветлы у воды ясно-серо-синих, прозрачных, чуть в зеленцу, речных глаз. Добрых! Добрейших! Улыбка нежнейшая, и сам весь исходит добротой, светом нездешним: сияет, лучится. Пушистые волосы вокруг лысинки, за ушами, шевелятся и светятся. Руки, пальцы вымазаны краской. Не отмоешь. В годах! Зачем в столицу прикатил на колченогом, шатком поезде, где дуло во все щели, а ночью грызли из банки вареную курицу и резались в сальные, дивные карты. Слава, слава! Да ведь и художника зовут Слава. Святослав, а фамилия? А зачем тебе? Она тебе ничего не скажет! Меня в Москве пока никто не знает! Пока... Ну кто-то ведь да знает! Кто-то да. Кореш мой, Витек. Витек

Агафонов, пусть тебе прибудет, а от тебя не убудет! А где твой Витек-то? А в Канаде! А где это, Канада? Ой, чувак! Ты не знаешь, где это, Канада! Так ведь там же Ниагарский водопад! Брызги Ниагары стучат в мое сердце, понял?!

Я всю свою мастерскую из Сибири сюда перевез! Всю жизнь свою перевез! Грузовой вагон заказывал! Мне деньги на поездку друзья год собирали! Хорошие у меня друзья, да. Сибиряки! Не чета столичным жителям! Здесь все бы только урвать, украсть! Стащить, слямзить! Так устроен здесь человек. А сибиряк — он, нет, не такой! А что, в Сибири не крадут? Нет, мужик, нет! Ну если и крадут, так это просто из рук вон! Вору там сразу морду бьют! В кровь, в кашу! И руки выдергивают, чтоб не крал! А раньше вору руки вообще рубили! По локоть, знаешь?! Ух, как страшно. Как безрукому жить? А вот так, брат, и жили! Миску зубами со стола ухватывали и суп хлебали! А то и лакали, как собака, из миски!

Слушай, давай сменим тему. Давай! А покурить? Давай!

А хочешь, чтобы тебе не было скучно, я тебя тут буду учить рисовать? Что, что? Рисовать? А зачем это мне, рисовать? Ну как это зачем! Рисовать — это все равно что дышать! Это для тебя дышать. А мне что в лоб, что по лбу. Тебе легче будет жить! А кто тебе сказал, что мне трудно жить?

Лысенкий художник со слезным, лучистым ликом святого, с пушистыми волосами, их будто развевал ветер вокруг его бедной, уже стареющей головы, всплеснул руками и так жалобно поглядел на Марка, будто Марк болел тяжело и никаким снадобьям та хворь не поддавалась. Так ведь всем, всем, милоч, трудно жить! И тебе тоже! Еще как трудно! Недаром в тебя стреляли! Не зря!

Эту карту было нечем крыть. Марк низко, к самым коленям, опустил голову. Хрен с тобой, золотая рыбка, гуляй же ты на просторе. Учи меня рисовать.

Так он вслух сказал художнику; а про себя, тихо, добавил: старый дурак.

Он даже на улицу не выходил — художник его не пускал: боялся за него. Он выходил на балкон и так дышал воздухом. Иногда за дверью раздавалось наглое мяуканье. Это приходил тощий черный кот с желтыми глазами. Художник кормил его килькой в томате. Марк гладил кота по выпирающему под ночной шерстью хребту. В мастер-

ской стоял холодильник, и на двух обожженных кирпичках мерцала серой спиралью старая электрическая плитка. Марк то и дело кипятил на плитке ржавый чайник и от тоски заваривал крепкий чай. Сахар хранился в жестяной банке из-под кофе. В чашке медленно плавал золотой лимон, кот громко мурлыкал, засыпая на продавленном диване, а Марк подцеплял густые, как сметана, краски с грязной пестрой палитры и щедро вминал в туго натянутый холст. Краски, это была дикая, звериная забава. Иногда ему казалось: это лучше женщины. Так же весело, жарко, только без запахов, канители и соленой влаги, и пота, и слез, и сетований, и упреков.

Прислушаться к себе. Как самочувствие? Нигде не болит? Не жжет, не колет? Он, еще до выстрелов на ночной улице в снегопаде, прошел курс хорошего лечения за очень большие деньги; а краски мелькали перед глазами, смеялись ему в лицо, лились, плыли, плакали, шептали, угодливо размазываясь, ковром расстилаясь под податливой кистью: вот, Марк, уразумей, художник-то просто ловит жизнь, как птичку в силоч, он оставляет ее на холсте, а ты что пытался делать? Пытался деньги ловить, золотишко, счета, почет, тяжело пытался весить на весах человеческих, да все ты такой же тощий шкет, все такой же воришка, — нет, не надо вспоминать, ты еще молодой, тебе не в прошлом копать надо, а будущее — снежком в ночь запускать! Из будущего — в свое гадкое и стыдное прошлое — навскидку стрелять.

А гадкое и стыдное прошлое у него было; да, было.

Но он о нем даже себе не намекал; и по ночам не снилось оно ему; и уж художнику, его приютившему, спасителю его, он ни сном ни духом не обмолвился о темных невидимых крыльях у себя за спиной.

Шептал себе, как в жару, в бреду: еще навспоминаюсь... еще...

Художник уходил, куда он исчезал, Марк не вникал; он лежал на скрипучем диване, курил и от нечего делать пел коту песни, а потом играл со своим именем: переставлял в нем буквы, и получалось «Мрак». Окно залеплял мокрый снег. Его жизнь потихоньку залепляла мокрая белая смерть, тоскливая, как бродяга, ищущий пустые бутылки у помойки. А карти-

ны были живые. Они толпились, вспыхивали, золотились и лоснились, играли снопами искр, в ночи горели и гасли и опять чуть тлели, их пламя билось во мраке, даже когда Марк выключал свет и бессонно таращился в серое ничто. Картины, свечи! И в церковь ходить не надо. Славы не было. Чужая каморка вся пылала чужими кострами, что не он разжег.

И вдруг он до боли, до ужаса захотел, чтобы весь этот огонь стал — его.

Он вскочил с дивана. Диван лязгнул под его сильным молодым телом всеми пружинами. Он провел ладонями по вмиг вспотевшему лицу. Дрожал. Эх, как он раньше не догадался! Охотничий гон, чуйка вора, вновь бешено, властно восстали в нем. Он обвел глазами горящие краски. Вещный мир! Зримый! Все это можно в одночасье сжечь. Все подвластно уничтожению, все! Но люди из эфемерности делают славу. И делают деньги. И делают — себя. Судьбу. Вот и он! Что — он?! Ну что, что?!

Он храбро, нагло додумывал: вот и я чужое сделаю своим! Только игра эта будет покрупнее. Счет пойдет на немыслимые цифры! А даже и не на деньги, шут с ними! На славу! Да, на славу, на нее! Какова она на вкус?! Он жизнь проживает и не знает. Теперь узнает! Эти картины... они...

Он ни черта не понимал в живописи. Он просто видел: это красиво, и это можно дорого продать. Не их, дурак! А себя! Себя, как того, кто их родил! О да, это станут его дети. Он их усыновит, эти холсты, эти картонки. Он везде напишет на них свое имя. Имя! Марк! Мрак! Чёрт! Как это красиво! С фамилией отца его, родовой? Нет! Просто Марк! Ну вроде как марка! Фирма! Круто! Круче не бывает! Все богатеи всей Москвы, да что там, всего Токио, всего Нью-Йорка и Парижа, Кейптауна и Стокгольма, и какие там на земле есть еще знаменитые громкие города, купят его картины! Он будет висеть во всех музеях мира! К нему будут вставать в очередь за автографом! Он...

Оборвал себя. Тихо, вслух сказал себе: ты же рисовать ни шиша не умеешь. К мольберту не встанешь. Да, ты уже малюешь, возишь кисточкой по холсту, детский лепет.

А зачем обнародовать свою кухню? Пусть никто не знает, как и где он работает. Пусть его мастерская будет... будет...

Мысли скрежетали шестеренками. Летели черными воронами. Взрывались подо лбом, как петарды. Ему впервые было так тяжело думать. Надо убирать с дороги Славу. Куда? Надо стать Славой. Как? Ни одного ответа не маячило во мраке. Он обхватил голову руками, и ему почудилось, что под его ладонями — лысый череп художника, его светлые пушистые волосенки.

Ну, это же не гадкое низкопробное кинцо, и он не будет себе менять внешность, ведь картин Славы пока никто не знает, это девственный товар, и можно сделать просто: убрать помеху с дороги, и все дела. И все дела! Дела начнутся потом, после. Главное дело надо сделать сейчас. А что сделать? Убить? Убить, ха. Но ты же не киллер! Или тебе понравилось, как в тебя палили, и ты решил искусство перенять? Глупо все, глупо. Думай хорошенько. Думай лучше. Придумай такое, к чему не подкопаешься. Не придерешься.

Раздобыть пистолет? Приказать Славе под дулом убираться восвояси? Нехорошо, он в суд подаст. Какой там суд, нет свидетелей! Все равно разъяренный малеванец потом появится. Вынырнет из омота. А не надо, чтобы выныривал. Надеть маску, когда в мастерскую войдет, пьяненький-веселенький, насесть на него? Связать, кляп в рот, скотч на глаза, в мешок, в лыжный рюкзак, и вперед, вокзал-билет, и куда? в другой город? в леса, поля, луга? бросить в снежном поле, связанного его снег быстро заметет. Нельзя, это тоже убийство! Марк, ну ты же не убийца! Обмануть? Сказать: знаешь, с Лены твоей позвонили, тебя там срочно ждут, на похороны, друг у тебя умер! Какой друг? Имени не знает. Кто звонил? Не спросил. Глупо, художник может в Сибирь сам позвонить. И вылезет наружу вранье. И ссора, ругань. И потом примирение, пьянка. Водки ртутной бутылка на грязном столе, среди кистей и тюбиков. И тишина. Тишина!

Нет, конечно, нет; убивать он его не будет. Убить — это пошло, это чересчур гадко. Для него? Или для всякого человека? Мысли сшибались. Ну ясно, для всякого! Но ведь, Марк, молча орал он сам себе, среди кучи всяких разных всегда попадают те, кто убивает! И никуда нам всем от этого не уйти! А войны? Марк, а войны? Куда ты денешь войны? Узаконенное грандиозное, многоглавое убий-

ство. И войны ведут владыки стран; и народ за ними идет, встает под ружье; и на полях сражений решается судьба всех: быть всем или сразу всем помереть. Второе, оно, конечно, ужасней, но ведь меньше народа, больше кислорода.

Не убивать! Только не убивать! Глупо, напрасно...

Ему почудилось, как художник тонко кричит, по-бабьи: «Только не убивайте! Не убивайте!» Просит пощады. Этот бредовый дальний крик стоял у Марка в ушах. Он зажал ладонями уши. Старинные настенные часы громко цокали, медный лунный маятник качался, бил. Медные блики выхватывали из тьмы очумелое лицо Марка: открытый, как для плача или вопля, рот, заросшие щетиной щеки, лоб, исчервивленный морщинами. Сразу старик стал. Луна в окно светила, ее свет падал на зеленую медь маятника. Маятник бил неостановимо. Марк не заметил, как дверь отворилась и в комнату вошли.

Думать было уже некогда. Марк шагнул к вошедшему. Кот мяукнул. Марк закинул ему руку за шею, вроде бы обнять. Потом быстро сместил локоть вбок. Захват. Художник, чуть пьяненький, выпучил серые светлые глаза, в них вспыхнул прозрачный ужас, ужас просветил до дна, как толщу воды, всю его дикую, далекую таежную жизнь. Пытался отодрать руку Марка от горла; Марк подключил к захвату другую руку, он вспомнил все свои драки, всю известную ему борьбу и болевые приемы; схватил художника за правую руку, перегнул ему руку в локте, художник заорал, Марк локтем крепко двинул его по губам, кровь потекла, Марк наклонился и мощно ткнул его головой в живот. Художник упал, кровь из рта капала на паркет. Марк придавил его всем телом, левую руку крутанул и вывернул наружу. Художник только слабо крикнул: «За что?!» — и открыл рот и замер, а из рта, из угла губ, по подбородку и скуле на паркет все стекала кровь, и маятник бил, и лунные пятна медленно ходили по стенам. Картины бесстрастно глядели на возню людей.

Художник лежал недвижно. Марк отпрянул от него. Затряс его. Его кровь, прежде его ума, поняла, что сделалось. Сделалось то, чего он боялся, не хотел. Марк не хотел, но он убил. Это было хуже всего. Он сидел над мертвым скрю-

чившись, сначала не двигался, потом закачался взад-вперед. Что же случилось? Что? Он его не задушил, по башке камнем не ударил, ножом не ткнул. Он умер — сам по себе! От ужаса? Да, может, от ужаса. Ужас, он может стать убийцей. От убийцы убежишь, а от ужаса уже нет. Эй, ужас, проваливай! Прочь! Его самого охватила оторопь. Еще шаг, и ужас. И он тоже сдохнет. Два трупа, негоже. Как избавиться от хлама? Хлам выкидывают и назавтра забывают о нем. О том, что ты ел-пил, на чем спал, кого любил. Твое прошлое — хлам ненужный! И люди — хлам. Вот хлам лежит перед тобой на окровавленном паркете. Миг назад это был человек. Но он отжил, отработал свое. Теперь он хлам. Быстро убери его. Как? Куда?

Марк разогнул спину и огляделся. Теперь он тут хозяин. Он пошарил в карманах Славиного пальто и вытащил ключ и мятые купюры. От рта, испачканного кровью, шел грубый водочный запах. Плохую водку пили ребята. Или плохо закусывали. И снова было некогда думать. Он цапнул со стула старую рубаху, крепко вытер мертвецу рот, сдернул с дивана изодранное котом покрывало и завернул в покрывало художника, он стал похож на колбаску для великана, на гигантский мясной рулет. Заколос покрывало булавками. Замотал скотчем. Мертвец, о счастье, оказался тщедушным; хорошо, руки не оттянет.

Марк долго бродил по мастерской. Он сам не знал, что искал. Нашел. Это были старые санки, еще со старинной железной, узорно изогнутой спинкой. Марк тепло оделся в чужую одежду, понимал, что нынче придется всю ночь по городу бродить. Чужой овечий тулуп, чужая лисья шапка, вся вытертая, моль поела. Чужие рукавицы. Закрыв мастерскую, подхватил закатанный в покрывало труп, санки, стоял в лифте, считал секунды. Вышел на улицу. Мело. Бельевою веревкой крепко, надежно он прикрутил мертвеца к санкам. На санках уместились только голова, грудь и живот. Ноги свисали. Это ничего, сказал он себе, если спросят, что везу, скажу — елку.

Пошел вперед нагнувшись, покати́л санки за собой. Тяжело, но придется шагать, такой груз в метро не возят. Да и закрыли уже метро. Часа два ночи. А может, и больше. Куда ты идешь, спрашивал он себя, ну куда? Он не знал. Теперь

он уже ничего не знал. И знать не хотел. За него все знала эта ночь, и эта метель, и эти фонари в метели, они светили мутно, туманно, и эти тени, он шел и отбрасывал тень, а иногда не отбрасывал тени, тогда он оборачивался, чтобы увидеть это, понять и снова испытать ни с чем не сравнимый ужас. Ужас ударял его током, ему было очень больно, потом ужас хитро исчезал, но вместе с ужасом исчезал он. Это было непонятно, и вот тут можно было сойти с ума. Чтобы не сойти с ума, он брел, тащил за собой тяжелые санки и повторял себе: тебя теперь все узнают, все, все, и ты будешь Слава, Слава, да, он, он, она, она. Слава.

Долго он шел по ночной метельной Москве и волок за собою страшные санки. Наконец устал брести, взмок, пот вымочил всю одежду, над тулупом вился пар, он теперь понимал, как умирают исхлестанные, загнанные лошади. Его все-таки спросили, что он везет: подгулявший парень со свертком под мышкой, из свертка торчало серебряное горло шампанского и батон колбасы, а потом, через квартал, подслеповавший бомж, в надежде, что если съестное мужик везет, то, может, ему отколется. И оба раза он ответил четко, как и задумал: «Елку купил!» Парень с шампанским подозрительно протянул: ну-у-у-у, это ты припоздал, земля, Новый-то год вроде уж прошел, а, нет? Бомж крикнул ему в ответ: а, елка, елочка, в лесу родилась елочка, в лесу она росла! И оба раза он на эти речи смолчал. А что было говорить?

Забрел в пустынный двор. Снег лежал белыми барханами. Зыбучие пески снега затягивали, вглатывали. Далеко, на краю двора, виднелись мусорные контейнеры. Еще когда и как найдут; да и найдут ли. Может, и не найдут; железные клещи ящик подцепят, мусор в кузов вывалят. Свалка, Слава, вот твоя могила. Отвязал труп от санок. Подтащил к железному ящику. Увалил. Хорошо упал мертвец на дно, удачно; снаружи не видно, не торчит заманчиво перевязанная веревкой, скотчем замотанная праздничная елка.

Вот оно и все тут, шептал себе, возвращаясь належке, таща за собой ставшие легче пуха санки, вот оно и все, а ты боялся. Все на деле оказалось до смешного плевым, ерундой. Так присваиваются вещи; а жизни? Марку предстояло примерить на себя чужую жизнь, и вдруг он развесе-

лился. Да так неистово, что в пляс захотел пуститься! С трудом себя останавливал. Посреди ночной Москвы — да вприсядку, не заберут ли его в лечебницу? Ах, молодец, Марк! И от поганой болячки вылечился, и теперь знаменитым станешь! Вот так подфартило! Ему петь хотелось. Завершился ужас, больше не захлестывал волной. Начиналась жизнь настоящая, такая, про которую в книжках читают: он знаменит, он дорого стоит! Осадил себя: да сейчас самый твой труд только и начнется! Надо сделать так, чтобы твое имя гремело везде! А это денег бешеных стоит! Ухмыльнулся: деньги? добудем! Да деньги своровать — нехитрое дело! А на хорошее дело, на славное имя денег никто не пожалеет! Потому что все возле моего имени, как возле костра, захотят погреться!

Он все-таки сплясал посреди ночного фонарного, слепого от снега города. Остановился. Раскинул руки. Присел. Сердце мощно билось. По скулам текла влага. Да это просто таял снег. Чепуха какая, слезы! Разве мужик плачет! А если ревет, то — от радости. Давай, валяй! Ногу выбросил вперед. Выкинул коленце. Он никогда не плясал русского. Это было все мертвое, забытое. На дискотеках в школе терся возле девчонок, топтался, кулаками тряс, вот и все танцы. А тут он как вдруг в пляс пошел! Как с цепи сорвался! Руки, ноги сами задвигались. Ему было все равно, глядят на него из окон, и слепо-темных, и уже горящих, или не видят его. Наплевать, пусть видят. А не видят, тем лучше. Пляска оказалась сильнее его. Он в этой пляске плясал все: горы и увалы, и родную холодную, широченную реку, ее ледяную зимнюю пустыню, и первое воровство, когда первый кошелек из кармана толстой тетки на рынке украл, и небо в грозовых тучах, и первый ливень, и страх ледяных просторов земли, что он еще не видел, а сердце знало: еще увидит. И дороги перед ним расстилались живыми руками, а равнины и берега — мертвыми голыми, тощими телами, и торчали ребрами сваи, и громоздились спинами и локтями камни и битые кирпичи, и внутри него, под сугробной кожей, под зальделыми позвонками его кровь шла в нем нескончаемым красным снегом, мела красной метелью. И горели во тьме не людские глаза, а костры, и огнем тянулись к нему руки, а пляску его было не поймать, так он ускользал от жадно

ловящих его зрачков и цепких рук, так радовался своей близкой славе, так веселился, зная, что никогда, ни в жизнь не отработать ему эту живую, чужую славу! А все равно, какое же счастье, праздник какой — обонять, осязать чужое! Присвоить его! Присвоить — и есть на нем, на чужом, и грызть его, и пить, и однажды до косточки, до ребрышка съесть его! И вот тогда, тогда чужое станет твоим! И вас уже будет не отличить! Не разять! Не разодрать!

Пусть только попробуют!

А если попробуют — я легко докажу и покажу, что я, я сам все это родил! А не он, чужой!

Потому что я его, безвестного, смело похоронил, а на его могильном холме, укрытом его старым покрывалом, что драл когтями его тощий кот, сплясал свою, свою собственную пляску! Так посмейте теперь сказать мне, что я — вор! Какой же я вор, если я чужие слова перемолол и свой хлеб испек?! Какой же я вор, если я чужой воздух вдохнул, а выдохнул — свой? Этот чужой воздух — он моей, моей кровью стал! Он уже во мне течет! Вор, да, ну и что, вор! Об этом я и сам знаю. А люди, люди о том никогда не узнают! Людям я — себя покажу! Только себя! Себя одного! Свои картины! Свои! Мои...

Он застыл на снегу. Вздернул голову и поймал взгляд. Из-за шторы на него глядела глазами, полными ужаса, седая растрепанная, только с постели, старуха. Марк откозырял ей, отряхнул снег у себя с плеч, с рукавов. С воротника чужого дубленого тулупа. Огляделся. Голая голова, и ветер волосы треплет. Лисья шапка валялась под ногами. Он поднял ее и нахлобучил на темя. Какая прекрасная, жадная штука жизнь! В ней главное — не зевать. Ему повезло! И он не убил, не убил.

Он подхватил ремень санок. Шел, санки шуршали полозьями по снегу. Повторял сам себе: я не убил, нет, не убил, не убил.

Когда он пришел в мастерскую, он уже свято верил в это.

И в то, что он сам все эти картины написал.

Платье чужой жизни жало только первое время. Потом швы разъехались, расставились. Далекий Витек лежал на дне Канады. Марк обзвонил знаменитых галеристов, набрал номер лысого Сухостоева. «Ты в курсе, что твоя крем-

левская протееже пыталась меня застрелить? Нет, не из ревности. А может, из ревности, не знаю. Я чудом спасся. Кстати, что с ней? Уехала из страны? Туда ей и дорога. Слушай, Сухостоев! Я теперь художник. У меня открылся дар. Ну да, вот так просто и открылся! Все великое просто! Старик, сними мне просторную мастерскую! Ючусь в халупе. А мне нужен размах! Ну да, вот такой финт ушами! Не говори, во сне не прижится!»

Лысый снял ему огромной величины апартаменты возле самой Красной площади. И это лысый первым купил у него один из лучших холстов бедного мертвеца: мрачные дома, угрюмый пугающий город, каменные соты, дикая пурга, снег вьется безумными кольцами и спиральями, встает серебряными столбами, и в круженье снега, на ветру, стоит женщина; она распахнула шубу, в отчаянии разодрала на груди кружевную сорочку, голую плоть сечет снег, волосы дымом летят по ветру, глаза во все лицо, в них ночь, и боль, и проклятье, и любовь, и прощение — все сразу. Мазки плотные, густые, светятся. Марк поставил на холсте, внизу, в правом углу, свою подпись, старательно вывел буквы своего смертного имени кисточкой, обмакнутой в угольно-черную краску. Баба на картине напоминала ему златовласую Катюку, у которой он стырил украшения в Хургаде. Лысый Сухостоев важно ходил меж украденных работ, в огромные окна лился свет, далеко вспыхивали вечной алой кровью звезды на башнях Кремля. «Ну что, Марк, тебя можно поздравить? Ты гениальный художник! Ты, брат, уже бессмертен! Как тебе удалось, — шурился хитро, — за такое короткое, черт подери, время?» Марк опускал глаза. «Я талант. Только я об этом не знал. Теперь знаю». Умный Сухостоев тер ладонью блестящую лысину, вертел головою-дыней. Он все понимал, но боялся об этом прямо сказать Марку: сбежит добыча.

Сухостоев задумал сделать на Марке большое состояние; прежде всего он был бизнесмен, затем политик, затем уже человек. Человека в Сухостоеве оставалось совсем мало, на доньшке. Человек Сухостоев еще умел считать. Он украдкой пересчитал все картины: около ста больших холстов, штук пятьдесят небольших, бессчетно этюдов: везде раскиданы, стоят стопками у стен, рассованы по стеллажам. Глаз у него был на

искусство наметан. Он согнул свою толстую, мощную спину, наклонился над временем, заглянул вглубь этих чужих холстов, как в прозрачное озеро осторожно заглядывают с берега, пронизал зрачками всю толщу воды, до дна, где драгоценные камни раскиданы, где золотые, алые и серебряные рыбы медленно, важно плывут, — и понял все про россыпь сокровищ, лежащих на дне: нырять надо, и глубоко нырять, и на поверхность вытащишь то, о чем всю жизнь грезили: крупную, величиною с жизнь, жемчужину.

Лысый похлопал Марка по плечу. А что у тебя руки не в краске? Мало сейчас работаешь? Марк отводил глаза. Да, мало работаю. Сухостоев, прищурившись, рассматривал чистый холст на мольберте. Что задумал написать? Еще не знаю. Я — импровизирую. Я никогда не знаю, что и как ко мне придет. Кто заявится. Знаешь, Сухостоев, я тебе тайну открою, у меня внутри такой бешеный источник вдохновения существует, я даже сам боюсь. Оттуда фонтаны красок хлещут. Я их вижу и даже слышу. Когда этот фонтан вдруг забудет, я хватаю кисть и сразу — к мольберту. И тут уже меня никто не остановит. Даже ты.

Даже я?!

Смеялись оба. Выпивали. Сухостоев важно поднимал палец: художники много пьют, да ты не спейся. Я не сопьюсь, серьезно отвечал ему Марк, я для этого слишком умный.

Вторую картину Сухостоев продал человеку из Кремля. Человек был знаменит в узких кругах, уже появлялся в телевизоре, уже глядела на него страна и обсуждала его по косточкам, кто восхищался, кто плевался, а человек знай себе делал свое дело, обрастая деньгами и связями по всему миру. <...>

Колесо покатилося! Все быстрее и быстрее. Сухостоев вложил деньги в звонкое звучание его имени. «Марк, Марк!» — щебетали девочки с телевидения. С первых страниц газет, с обложек глянцевого журнала глядело лицо Марка, и сам он стоял около мольберта, в рубашке апаш, с палитрой, испятнанной яркими красками, с огромной, почти малярной кистью в руке. То улыбался, а то глядел мрачно, угрюмо. Он небрежно листал таблоид и сам себе нравился. Ему уже нравилось все это: шумиха, кваканье и криканье, лепет и щебет. Кадры, пошлая музыка рекламы, торжественные песни о нем, пляски

вокруг его картин в его мастерской. Его? Он начал забывать, что картины — чужие. Он втерся в них, сросся с ними. Какая, оказывается, красота — жить чужою жизнью! А какая разница — своя, чужая? Все люди плывут в одном море. И всех кусают за руки, за ноги одни и те же акулы.

Паркет кремлевских палат был такой блестящий! Немудрено поскользнуться. И не однажды. Шел, и новые башмаки от Гуччи чуть поскрипывали, шел по залу получать награду. Лысый пробил ему награду — сейчас на грудь ему нацепят священный орден, и он приобщится к хору избранных. Марк! Святое имя! А, да, ведь кто-то ему сказал: давным-давно жил на белом свете такой Марк, и он написал какую-то святую книгу. Ха, ха, да он же не святой! Он — вор! А что, если книгу ту добыть да прочитать? А может, тот, кто ее написал, у кого другого — своровал? Ведь все воруют друг у друга. Все!

Он теперь знал это доподлинно.

Лысый воровал у друзей. У врагов. Враги воровали у врагов и делали их друзьями. Власть воровала у народа, а потом кричала на весь свет: народ меня сначала выбрал, а потом нагло обокрал меня! Власть краля у народа накопленные им деньги, жалкие гроши, а потом обвиняла народ в том, что он глуп и туп; быстрее надо мыслить, живей идти в ногу со временем! Время не будет ждать тебя, нищий народ, возле выхода метро! Я, власть, обокрала тебя; да тебе поделом! Не зевай!

Марк сухими губами беззвучно повторял этот нахальный клич: крадите и делитесь! Он вступил в круг, очерченный воровским мелом, и ему теперь надлежало делиться. Лысый подсказывал ему, что делать. Скоро он уже ловко резал на куски жесткую, звонкую денежную колбасу. Ему приказывали: кради! — и он крал. Ему шептали: откати! — и он делился. Все было просто, как в аптеке. Провизор отвешивал лекарства по рецепту. Умный фармацевт, умнее любого врача, успешно излечивал стыдную болезнь.

Награду из владычных рук он получил. Знаменитые руки долго, неловко прикручивали орден к его лацкану. Он опускал голову, касаясь подбородком груди, и косился на темный лацкан: ярко горел железный костер, пылала расписная звезда. Символ чести и славы. Слава! Слава! Туго перехваченная бельевой веревкой

елка! На какой ты свалке гниешь?

Дорогой особняк. Дорогая посуда. Есть и пить с дорогого, с драгоценного? Да пожалуйста! Дорогое время: минута стоит диких денег. Власть, с нею можно здороваться за руку. Он пока еще рукопожатный. Вокруг него нимб гения. Гений Марк! Дорогая машина. Превосходный «бьюик». Он ехал по забитой железными повозками Тверской, вцеплялся в руль и повторял: «Я бессмертен, я бессмертен». Повторял, повторял — самому себе молча, в уши, вопил: я бессмертен! — и внезапно холодный пот прошибал его, и тек у него по спине, и он брезгливо поводил плечами, мокрая рубашка липла к лопаткам под пиджаком: он врал самому себе. Он — обкрадывал — сам — себя.

А что он у себя крал? А он воровал у себя — правду.

Правду воровать легко и приятно, шептал он себе, машины мигали, гудки прорезали вечер, огни россыпью обступали его, красные, резкие, загоняя в угол, под стволы охотников, под выстрелы. Кто завтра пальнет в него? Чью правду он сворует завтра?

Он научится жить завтрашним днем; предвидеть и вычислять; но он не предвидел лишь одного. Самого страшного.

Устраивал вернисаж. Модная галерея, закрытый показ. Нарочно выпачкал бархатный пиджак масляной краской. Втер в бархат каплю скипидара, чтобы от него художником пахло. Встряхнул волосами. Похлопал себя по щекам. Гладкие, смазанные лосьоном. Весь лощеный, лаковый. Ни к чему не придраться. Лысый сообщил: будут первые люди. Люди, люди на блюде! Он тихо хихикал, влезая в башмаки, засовывая в нагрудный карман кружевной носовой платок от Фенди. Гладко он выбрился, а сейчас модно шататься небритым. С бандитской рожей. Щетина чтобы торчала. И волосы торчали. Это модный стиль «гарлем». А он бреется по старинке, аккуратно. Надо быстро перенять моду. Картины уплывают! Скоро все распродаст и что будет делать? Кого-то нового обворовывать?

Хохотнул, спустился вниз. Особняк три этажа, сауна, бассейн. По стенам бегут косули, олени, лоси, лошади. Ему нужен бег. Чтобы все время бежать. Оголтело нестись куда-то. Спокойно — не жить. Куда ты бежишь вместе с этими зверя-

ми? На водопой? Лизать соль? К любви и смерти? А ты можешь соперника — ради любви — убить? Хоть кого-то — убить — сможешь?

Едва не смог; Бог помог. Бог? Или кто другой?

Разве вору помощь нужна, кривил он губы, и железная повозка несла его в себе, бежала, бежал, летел снег за окном, эта вечная зима ему уже надоела, ах, Москва, ты такая красивая, ты меня выкрутила, как тряпку, но ты мне поднесла на золотом подносе всю себя, с потрохами. Не зря я в тебя приехал! Он бежал по городу на круглых резиновых ногах, мимо него бежали дома и лица, и он хотел смачно плюнуть в лица всех людей внутри снежного вечера, ведь они были такие маленькие, жалкие, а он был такой важный, драгоценная птица павлин с развернутым на весь Кремль сине-золотым, зеленым хвостом. Зал раскрыл объятия. Он целовал воздух многозубыми улыбками. Раздавал их налево, направо. Он слышал невнятный шепоток: такая изумительная живопись, и такой, мягко выражаясь, дурак! Он же необразованный, тупой как пробка... он же ни одной книги не прочитал, это видно за версту, он же... он же... Картины висели по стенам. Стояли на мольбертах, укрытые тканями. Белые простыни сдернули. Обнажили огонь. Все восторженно вскрикнули и бурно захлопали. Шампанское лилось и проливалось на паркет, пузырилось. Звон, стон стекла. Смешки и возгласы, музыка залов, предчувствие сделок. Вся жизнь — сделка, разве не так, опытный вор? Он шарил по залу глазами. Предчувствовал. К холстам, нагим и ярко горящим, с другого конца зала подгребал старик. Марка обдал изнутри кипятком. Лицо старика, оно же с портрета! Вон с того, что у стены, на мольберте. Деревянные ноги мольберта сами пошли. Мольберт пошагал к старику. Старик еле заплетал ногами. Он шел и шел, путь все не кончался. Мольберт подошел к старику быстрее. Вот они уже стоят рядом. Вот уже старик вздымает седую тощую бороденку, и Марк видит: это же его отец!

Отец. Забытый.

Зачем он здесь?

Некогда задавать вопросы. И некому. Старик с трудом поднял руку, подтащил ее к поверхности холста и поковырял нашлепки краски ногтем. Народ перестал говорить. Бокал с шампанским

опрокинулся, выпал из рук. Осколки летели вбок и вверх, медленно падали на паркет. Хрустели под каблуками. Старик, с головою, обвязанной полотенцем, будто после бани, как из больницы сбежал, пиджак расстегнут, под ним старый, в заплатках, военный френч, все царапал ногтем холст. Рука упала вдоль тела. Обернул лицо. Глазами нашел Марка. Марк, с глупым бокалом в пальцах, глядел на старика; потом озорно поднял бокал ко лбу и поглядел на безумца сквозь желтое вино. И вино — выпил. Старик глядел, как дергается кадык Марка, пока он пьет. Марк выпил бокал до дна и жажнул его о паркет. Морозные осколки. Вечная зима. В гробовом молчании старик стащил с башки тюрбан. Его маленькая лысина смугло блестела в свете люстр и софитов. Пушистые серебряные волосы разлетались вокруг сморщенного печеной грушей лица. Славка, это же ты, ты воскрес, сам себе сказал Марк, и только он себя услышал. Старик вытер потное мятое лицо ладонью. Узловатый, скрюченный его палец прямо и жестоко указывал на Марка, и все головы обернулись к нему. Раздался голос. Марк предчувствовал, что он раздастся. Молчание подошло к пределу.

«Вот он! Да! Он! Он все это своровал! Все! Все картины! Все до одной!»

Люди превратились в нелепое, стыдное тесто. Время мяло их в жестких бесстыдных пальцах. Вскрики, ахи, ругань. Опять замолчали. Ждали. Старика обступили, как старого, умирающего гиббона в зоопарке, в тесной клетке. Теснили к холстам. Старик вжался спиной в ярко, жарко светящийся холст. Холст всеми масляными шипами, выступами и выгибами карябал ему спину. Подслеповатые, рыбами плывущие глаза старика, глубоко запавшие под череп, искали, бегали по чужим лицам. А старик был родной. Он был родной Марку, и Марк это знал. Предчувствие стало знанием. Не надо ничего объяснять. Все уже случилось. Старик раскрыл лягушачий рот, растянул губы до ушей и крикнул, и старческие синие жилы на его тощей закинутой шее напряглись и вздулись узлами.

«Это Славкины картины!»

Ринуться к старику. Зажать ему рот рукой. Ты что, спятил?! Старик отдирает его руки от сморщенного, запеченного в печи времени лика. Нет. Не сошел я с ума. Мне сказали. Я не

верил. Но я увидел. Все правда. Ты своровал Славку. Всю его жизнь. Я эти картины наизусть знаю! Он когда очередную заканчивал, мы с ним выпивали. Как тебя сюда пустили? Пустили вот. Пусти меня! Не пущу. Заткнись! Не заткнусь. Я теперь буду на каждом углу о тебе кричать! Славка, ведь это друг мой! Брат мой, а я тоже художник! А где Славка? Где?! А?! Убил Славку?! Ответишь! Гад! Молчи. Иначе я убью тебя. Пристукну в подворотне, как выйдем отсюда. Да ты отсюда не выйдешь. Я тебя в каталажке сгною. Это я тебя сгною! Ты — вор!

Жилы опять надулись. Крик рвался вон из старика, и Марку не под силу было затолкать его внутрь.

«Он все украл!»

Марк встал впереди старика. Закрыв его телом. Будто от выстрелов спасал. Люди расстреливали их глазами. Чьи-то рты уже кривились в ухмылках. Любопытные собирали скорую жатву. Пули глаз летали по залу. Отскакивали от потолка, от стен с лепниной рикошетом. Марк разинул рот. Ему надо было лживым воплем перекрыть крики старика. Воздух горячим дымом втек в его ноздри. Задыхаясь, он крикнул, и собственная глотка показала ему ржавой железной, подземной трубой.

«Это не я украл! Это — у меня украли! У меня! А я — вернул свое!»

Зал взорвался. Голоса полились, растеклись, нефть голосов мгновенно подожглась и ярко, чадно горела, и люди ногами утопали, по шиколотку стояли в говорильном, черном, сплетневом огне. Все задвигалось: руки, ноги и щеки, люди корчили гримасы, отбивали ногами морозную чечетку, хватали друг друга за локти, за плечи, беспощадно трясли, пытались выведать, что да как, и зачем так, а не обман ли это, ну да, все обман, кивали людям люди и несли окошечку, что старались выдать за правду; и в уши Марку лезли эти вопли, они огненным хором восстали вокруг него, пылали яркими столбами, пламенными колоннами рушились на него, и он поднимал руки и закрывал лицо от горячего падающего камня, пытаясь спастись, сохранить себя, — не обратиться в кости, в пепел.

«Как это — вернул? Какое свое?»

«А так! Просто! Я работал! А у меня все мое —

стащили! Скопировали! Точь-в-точь! Внаглу! И тогда я... я...»

Ему трудно было кричать: глотка враз охрипла. Выгалкивал из себя слова, текла лава, сыпались жгучие камни.

«Я... я... уничтожил...»

Старик опять вытянул узловатый дрожащий палец. Палец раскаленной спицей протыкал грудь Марка.

«Ты! Его убил! Ты сядешь в тюрьму!»

Марк кричал. Важно было кричать. Не оставиваться.

«Я сжег! Сжег! Все холсты! Те! Чужие! Что украли! У меня! Да! Сжег! Все, до нитки! До щепки последнего подрамника! Все! За сараями! На снегу! На задах дворов! Там, далеко... — Сморщил лоб. Все лицо кривилось, корежилось отвратной судорогой. — В том городишке! Где жил мой вор! Далеко! В Сибири! На реке... Лене...»

Набрал в грудь воздух. Старик опустил корявую руку. Теперь он просто смотрел на него.

«Он предал меня! И я...»

Старик глядел.

«Я забыл его имя!»

Полотенце лежало у ног старика, обращалось в маслянистый, резко и больно сверкающий атлас. По атласу тускло и ярко сверкали, выпускали наружу лучи краденые самоцветы. Камни, что жили в земных недрах, тешили людей. Развлекали. Люди в зале толпились вокруг старика и Марка. Они ужасались и развлекались. Цирк не кончался. Надо было его кончать.

«Забыл! И не вспомню никогда! И не вспомнит никто! Потому что воров не помнят! А помнят, венчают на царство — только нас! Настоящих! Подлинных!»

Осмелился. Все-таки выкрикнул это.

«Нас! Гениев!»

И тут все загудели. Заурчали, завизжали. Все впади в истерику. Летели порванные ожерелья. Рассыпались по паркету жемчуга. Рвал уши дикий свист. Кое-кто кого-то бил, быть может, сильный слабого. Люстры ярко пылали, но люди зажгли свечи и несли их в руках, тащили, грудилли огни, высоко вздымали их над головами, будто хотели как можно ярче осветить обоганные, странные картины, в безжалостном свете понять, что в них подлинное, а что поддельное. Кто-то крикнул: «Имитатор!» Кто-то вторил ему:

«Поганец!» Дама в голубом норковом боа томно откинула кудрявую золотую голову, шептала на ухо ухажеру: «Я его знаю. Это еще тот делец. Он у меня украл...» Не договорила что. Толпа вспыхнула криками, визгами. Старик шагнул к Марку. Размахнулся. Пощечина прозвучала громко, звонко и оказалась тяжелой и постыдной. Тяжело, больно ударил человек человека по лицу. И тот, кто говорил правду, устоял на ногах, а вор пошатнулся.

Не упасть. Уже валюсь! Как плохо, пошло. Камеры снимают. Это скандал. За скандал дорого платят! Кому? Герою? Или тому, кто из скандала готовит лангет, антрекот? Удержаться. Не могу! Никто руки не подаст. Никто в толпе и никому, и никогда руки не подаст! Ты разве не знал? Я знал все. Ты врешь!

Марк падал неловко, тяжело, и старик тяжело глядел на него, глаза его плыли двумя черными мальками на мелководье, они плохо уже видели, его глаза, но они видели вора и подлеца, и вруна, и наглеца, и еще много всяких имен жизнь могла присвоить Марку. А старик стоял над ним кривоногим судьей, чуть согнув ноги в коленях, ноги наездника, и Марк снизу, уже лежа на полу, увидел: старик раскос, степное у него, дикое лицо, седые патлы висят вдоль щек, а лысину, должно, под снегом и ветром прикрывает островерхая меховая шапка, а носки сапог весело загнуты кверху, и тулуп подпоясан кушаком, и, может, он прискакал в Москву на лошади, на малорослой степной лошадке, ее же снег не сечет, ветер не бьет. Старик отпустил на волю двух рыб своих полуслепых глаз, много красок на веку видали эти глаза, много людей, да такого вора, как Марк, видали впервые. Марк валялся на полу, а этот старик, наглый степняк, сейчас уйдет. Старик плюнул на паркет рядом с Марком, пригладил седенькие жалкие патлы и медленно, кривоного пошагал к выходу из зала. Сорванный с башки тюрбан валялся на полу.

С мольберта на несчастного, на паркете распластанного вора глядела, бешено косилась блестящими глазами женщина: кровать, взбитые подушки, ноги расставлены, живот восстает громадным сугробом — рожает; а рядом, на атласе кресла — корона: царица. Повитухи крутятся возле родильного ложа! Друг дружку с ног сбивают! Неприлично, нагло, без стыда

торчат разведенные в стороны круглые, мощные колени. Одеяло откинута. Из живота лезет ребенок. Он лезет в жизнь, и этот кровавый путь, сквозь темноту и сочлененья костей, тягостен и ужасен. Плод рвется в жизнь, и, может, он не доползет. Умрет.

Уж лучше бы я умер, чем такое.

Уж лучше бы ты умер!

Марк пытался встать. Старик уходил вон. Он уходил не из зала — из жизни Марка, и жизнь Марка теперь не стоила ломаного гроша. Люди еще кричали и шептались, но утихал гомон, и меж господ сновали слуги со щетками в руках, подметали осколки. Царица, в родах, напрягала живот, тужилась. Повитухи на холсте стояли с белыми, как метель, пеленками в толстых добрых руках. Выгибался потолок терема. Расшитое золотою ниткой одеяло валилось на пол. Голый безумный, горою, живот, голые белые ноги царицы, ее высокая грудь под задранной белой рубахой надвигались с холста на народ. Народ пятился. Перед народом являлась жизнь: она давно умерла, а на холсте она еще не родилась.

Старик толкнул кулаком дверь. Его шаги раздавались на мраморной лестнице. Ему позволили уйти.

Изловите его! Свяжите, пытайте! Он оболгал меня!

Он правду обо мне сказал.

Марка подняли за ноги и под мышку перенесли на пуфик. Брызгали ему в лицо водой. От бархатного пиджака смертельно пахло скипидаром. Боже, как обидели художника! Гениального мастера! Он же бессмертен! А этот старикашка, кто он такой?! Послать за ним, пока далеко не ушел! Схватить его! Допросить! Есть люди, они разберутся!

Марку вытерли мокрое лицо его кружевным, из нагрудного кармана выдернутым платком.

Не надо, не хватайте его, не мучьте.

Почему?! Как раз надо схватить! Он же вас так очернил! Просто пригвоздил! Он вас, простите, просто распял! Распятый художник, это же поразительно, это же просто чудовищно! Он — вас — грязью поливал! Негодяй! Нет, послать, послать за ним! Хватайте его, он не успеет убежать!

Марк весь подался вперед, выпятил грудь. Оперся локтями о пуфик, пытался встать. Пытался крикнуть, но голос не сразу повиновался ему. Трудно было вымолвить то, что он хотел сказать.

Пожалуйста. Прошу вас. Не трогайте его.

Да кто он такой, что вы так его защищаете?! Кто?!

Марк закрыл глаза.

«Это мой отец».

(Окончание следует)



Елена Николаевна КРЮКОВА

родилась в Самаре.

*Окончила Московскую государственную консерваторию
и Литературный институт им. Горького.*

Поэт, прозаик. Автор десятков книг.

Лауреат премии им. М. И. Цветаевой (2010),

Кубка мира по русской поэзии (2012, Латвия),

Международного славянского форума «Золотой Витязь» (2014, 2016).

Лауреат Международных литературных премий им. И. А. Гончарова (2015),

им. А. И. Куприна (2016), им. Э. Хемингуэя (Канада, 2017),

а также Международной Южно-Уральской литературной премии (2017).

Член Союза писателей России.

Живет в Нижнем Новгороде.

В журнале «Север» публикуется впервые.

